

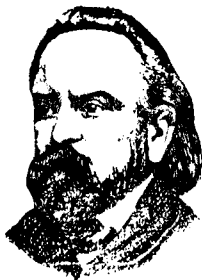
Р34206

*Писатели-патриоты
великой родины*

*

А. И. ГЕРЦЕН

(1812-70)



ОГИЗ

Гослитиздат 1945

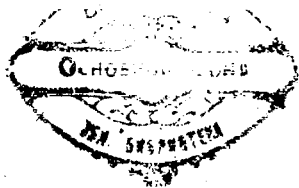


А. И. ГЕРЦЕН

ИЗБРАННОЕ

Редакция и вступительная статья

Б. П. КОЗЬМИНА



О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1945

ГЕРЦЕН И РОССИЯ

В 1833 г. Герцен, только что окончивший университет и стремившийся применить свои силы к какому-нибудь общественно-полезному делу, выразил готовность поехать на самую отдаленную окраину России, «лишь бы в виду было принести какую-нибудь пользу родине». В словах этих ярко отразились две черты, характеризующие Герцена на всем протяжении его деятельности: горячая любовь к родине и пылкое стремление во что бы то ни стало найти себе деятельность, удовлетворяющую его умственные и нравственные запросы. Такой деятельностью для Герцена могла быть лишь та, которая была направлена на ограждение интересов народа и на освобождение его от лежавшего на нем гнета.

Характерные черты герценовской любви к родине определялись особенностями его миросозерцания и сложившихся у него общественно-политических взглядов.

Внебрачный сын богатого и знатного дворянина Яковлева, Герцен с детства почувствовал на себе всю двусмысленность и ложность положения, в котором он находился в качестве «незаконного», как в то время выражались, ребенка. Однако это тяжелое положение дало возможность Герцену сблизиться с многочисленной дворней помещиков Яковлевых и завоевать доверие и симпатии дворовых. Поэтому между Герценом и крепостными его отца не было той глубокой пропасти, которая обычно отделяла помещичьих детей от крепостных крестьян. В дворне, окружавшей его с детских лет, Герцен видел не рабов, а таких же людей, как и их владельцы.

Герцен родился в Москве в 1812 году, за несколько месяцев до того, как полчища Наполеона I вторглись в древнюю столицу России. С детских лет он воспитывался в атмосфере, полной воспоминаниями о славных событиях отечественной войны, геройском сопротивлении русских и падении наполеоновской империи. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песней, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — писал впоследствии Герцен в «Былом и думах». Народная война 1812 г. наталкивала пытливого ребенка на вопрос о роли народа в исторических событиях. Размышления на эту тему приводили молодого Герцена к заключению, что истинным героем 1812 года, действительным победителем не знавшего до тех пор поражений императора французов был не кто другой, как русский народ, взявшийся за оружие для защиты своей родины от наглых захватчиков.

Продолжая работать в этом направлении, мысль Герцена невольно остановилась на резко бросающемся в глаза противоречии, характеризующем русскую жизнь того времени: народ, которому Россия была обязана своим спасением, по окончании войны был возвращен в то же тяжкое, рабское положение, в котором он находился и до 1812 года. Герцен не мог примириться с такой вопиющей исторической несправедливостью. Он приходит к заключению, что уничтожение позорящего Россию крепостничества и самодержавия является основной исторической задачей, стоящей перед родиной. Вольнолюбивые стихи Пушкина, Рылеева и других поэтов, во множестве списков распространявшиеся в то время среди русского общества, поддерживали в молодом Герцене его революционные настроения. Огромное значение в его жизни, определившее всю его дальнейшую деятельность, имело восстание 14 декабря 1825 г. По выражению самого Герцена, гром пушек, раздавшийся на Сенатской площади в Петербурге, «разбудил ребяческий сон его души». Декабристы на всю жизнь остались для него героическими борцами за свободу, примером для подражания. С глубокой болью переживал тринадцатилетний мальчик и поражение восставших и приговор пяти осужденных на смерть декабристов. Итти по стопам погибших за свободу сделалось с тех пор заветной мечтой Герцена.

Укреплению в Герцене революционных настроений способствовали

встреча и сближение его с талантливым сверстником, сделавшимся на всю жизнь Герцена его неизменным другом, единомышленником и соратником. Это был выдающийся поэт и публицист Н. П. Огарев. Убедившись в единстве своих дум, стремлений, надежд и идеалов, молодые друзья поклялись отдать свою жизнь борьбе за освобождение русского народа. И эту клятву они свято соблюдали, оставшись на всю жизнь непримиримыми врагами деспотизма и порабощения.

Герцен знал учение Сен-Симона и других представителей западноевропейского утопического социализма. Во многом поднимаясь над этими теориями, Герцен и Огарев понимали, что улучшение положения трудящихся масс, являющееся основной задачей современного человечества, недостижимо без коренной перестройки всего общественно-политического порядка. Герцен уверовал в то, что старый мир осужден на гибель и что наместо его должен быть создан новый мир, построенный на более справедливых основаниях. По замечанию В. И. Ленина, «социализм» Герцена, как и западных утопических социалистов, в сущности «был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою *тогдашнюю* революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат» (Сочинения, т. XV, стр. 465). Все это не исключало того, что Герцен был проникнут искренним и горячим сочувствием к трудящимся массам, желанием содействовать улучшению их положения и верой в то, что именно этим массам и принадлежит будущее.

Еще в студенческие годы Герцен и Огарев посвятили себя революционной деятельности. В Московском университете вокруг них сгруппировался кружок молодежи, проникнутой желанием отдать свои силы борьбе за освобождение народа. Вскоре по окончании университета друзья поплатились за свою революционную деятельность многолетней ссылкой в глубокую провинцию.

Эта кара не только не сломила Герцена, но, наоборот, способствовала дальнейшему росту его революционности. Развернувшаяся перед Герценом за годы его ссылки картина безграничного чиновничьего произвола, открытого лихоимства и наглого казнокрадства, картина, которую он так ярко воспроизвел в «Записках молодого человека» и в «Былом и думах», еще более укрепила в Герцене решимость продолжать начатую им борьбу. «Гнусные люди живут здесь, — писал Герцен

из Вятки,—отсюда ближе к аду, нежели из Москвы». Под влиянием тяжелых переживаний, испытанных в провинции, Герцен по временам был близок к отчаянию. Предпринятая им борьба начинала представляться ему непосильной, безнадежной, осужденной на неудачу. «Разъедающая злоба кипела в моем сердце,— рассказывает он,— это — чувство бесправия, бессилия, положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтобы сломать решетку». Но когда в минуту слабости Огарев стал проповедывать отказ от борьбы, «резигнацию», Герцен с горечью и гневом отвечал: «Резигнации, когда бьют в рожу, я не понимаю и люблю свой гнев столько же, сколько ты свой покой». Патриотизм Герцена был совершенно лишен нетерпимости и национального самохвальства. Герцен не признавал разделения наций «на Каинов и Авелей». Для него все народы имели одинаковое право на свободную и счастливую жизнь, на устройство ее согласно собственным желаниям и стремлениям. Мысль о господстве одного народа над другим вызывала враждебное отношение со стороны великого русского революционера. Мы выше зоологической щепетильности, писал Герцен, и очень безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами. Он считал, что не существует «народа, заслуживающего именоваться сонмами избранных», и поэтому с суровым осуждением относился к национальному угнетению и к попыткам установить господство одной нации над другими.

Герцен горячо верил в блестящее будущее России, но вместе с тем постоянно подчеркивал, что это будущее осуществится лишь в том случае, если русский народ сумеет овладеть передовой наукой и использовать ее.

Герцен был далек от одностороннего и слепого преклонения перед всем русским. Ненавидя крепостничество, он всю жизнь боролся с неволей, в которой находилось многомиллионное русское крестьянство. Отвечая людям, обвинявшим его в том, что он клеветает на русские социально-политические порядки, не желая видеть их хорошие стороны, Герцен писал: «У нас перед глазами крепостное состояние, а нас обвиняют в клевете; хотят, чтобы печальная картина мужика, ограбленного дворянством и правительством, продаваемого почти на вес, обесчещенного розгами, поставленного вне закона, не преследовала

нас день и ночь, как угрызение совести, как обвинение...» В 1848 году, находясь под безоблачным небом Неаполя, на берегу Средиземного моря, среди чудной природы, Герцен прочитал нашумевшую в то время повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка», в которой описываются бедствия, выпавшие на долю крестьянина, возмущавшегося злоупотреблениями бурмистра. Повесть Григоровича произвела громадное впечатление на Герцена, восстановив в памяти все ужасы русской жизни того времени. «Я чувствовал угрызения совести, — писал Герцен, вспоминая об «Антоне-Горемыке», — мне было стыдно находиться там, где я находился. Крепостной мужик, прежде времени изможденный, бедный, добрый, кроткий, невиноватый и, все же, бредущий с цепями на ногах в Сибирь, неотступно преследовал меня среди чудесного народа, у которого я жил».

В своих произведениях Герцен неоднократно указывал, что существуют две России, не имеющие ничего общего между собой. «В России, — писал он, — сверх царя есть народ; сверх люда казенного, притесняющего, есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца, есть Русь крепостная, Русь рудников».

«Невозможно любить такие вещи, как московский царизм или петербургский империализм, — писал Герцен. — Россия в своем историческом развитии уже переросла сохранившиеся в ней политические формы. Долг людей, понимающих задачи, стоящие перед родиной, всеми силами содействовать падению самодержавия и установлению такого строя жизни, который давал бы народу возможность самостоятельно решать судьбу, положив конец зависимости трудящихся масс от привилегированных классов».

Существующий порядок в России давил Герцена, и, как ни был привязан Герцен к России, к ее народу, к ее природе, он начинал все чаще задумываться о переселении в Западную Европу. И когда, после длительных хлопот, ему удалось получить разрешение на заграничную поездку, он писал: «Я из России выехал затем, чтобы не видеть офицерства и чиновничества, чтобы не видеть всех этих Ноздревых и Хлестаковых».

С юношеских лет Герцен возненавидел царское самодержавие, феодальное дворянство, петербургскую и провинциальную бюрократию и крепостничество во всех его проявлениях. Дворянству и бюрократии Герцен противопоставлял народ, под которым подразумевал

главным образом крестьянство, а также другие угнетенные господствующим классом слои населения России. Он непоколебимо верил, что историческая роль русского народа в основном еще впереди. «Истинная история России,— писал он,— начинается только с 1812 года,— до того было лишь предисловие к ней».

Предсказывая русскому народу великое будущее, веря в предстоящую ему громадную роль в дальнейших судьбах человечества, Герцен основывался прежде всего на том, что великий гнет, лежавший на нашем народе, не смог исказить его высоких физических, моральных и умственных качеств. Герцен указывал, что русский крестьянин отличается проницательным умом, мужественной красотой, упорством в достижении поставленных целей, социальной «пластичностью» и поразительной восприимчивостью. В прошлом русского народа ярко проявлялось настойчивое стремление к созданию независимого и сильного государства.

Это стремление вылилось в грандиозный процесс присоединения русскими сопредельных земель. Завоевание Сибири Герцен называл колоссальным историческим событием, свидетельствующим о способности русского народа на великие подвиги. «Горсть казаков и несколько сот бездомных мужиков,— писал Герцен,— перешли на свой страх океаны льда и снега, и везде, где оседали усталые кучки в мерзлых степях, забытых природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это от Перми до Тихого океана». В грандиозной эпопее русского завоевания проявилась та «внутренняя сила, которая так удивительно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии». Эта сила, присущая русскому народу, сказывалась особенно сильно и ярко в те моменты его жизни, когда существованию и свободе нашей родины угрожала серьезная опасность. Так было во время польской интервенции XVII века, в дни отечественной войны 1812 года и, наконец, при осаде Севастополя в Крымскую кампанию. Особенно ярко проявилась мощь русского народа в 1812 году: вторгшийся в пределы России Наполеон I «поднял против себя целый народ, который решительно схватился за оружие, перешел за ним следом через Европу и взял Париж».

Не только самого себя отстаивал, по мнению Герцена, от порабощения русский народ; не раз народы Западной Европы были обязаны

ему своим спасением. Таковую именно роль сыграл наш народ и во времена монгольского нашествия, и в наполеоновскую эпоху. Народу, способному на подобные подвиги, на подобное упорство в отстаивании своей независимости, несомненно обеспечено великое будущее.

Таково было глубокое убеждение Герцена, особенно укрепившееся в нем после того, как он познакомился — не только по книгам, а по личному опыту — с Западной Европой и пережил как и пылкие надежды, так и глубокие разочарования, вызванные в нем революцией 1848 года и ее поражением. Неудача этой революции, кровавые июньские дни в Париже, самодовольное торжество победившей буржуазии, появление на исторической сцене и головокружительный успех беспринципного авантюриста Наполеона III — все это было воспринято Герценом как яркое доказательство катастрофы, назревающей в западном мире. С исключительной горечью и болью переживал Герцен разочарование, испытанное им в 1848—1849 годах.

Это разочарование еще более укрепило в Герцене убеждение в великом историческом предназначении русского народа. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели», — писал Герцен, подводя итоги своим переживаниям и настроениям тех лет.

Залог великого будущего, предстоящего русскому народу, Герцен усматривал не только в героической борьбе, которую народу пришлось вынести с тяжелыми природными условиями, и с чужеземными завоевателями, но и в том, что русский крестьянин сумел сохранить в своих земельных порядках общинное устройство. Конечно, в этом учении Герцена, по словам В. И. Ленина, не было, «ни грана социализма» (Сочинения, т. XV, стр. 466). Конечно, Герцен жестоко ошибался, переоценивая значение русской общины. Но и эта ошибка свидетельствовала о горячей любви его к народу и вытекала из его убеждения в необходимости создать такой социальный строй, который исключал бы возможность эксплуатации привилегированным меньшинством трудящегося большинства.

Приняв решение не возвращаться, несмотря на требование русского правительства, в Россию и перейдя таким образом на положение политического эмигранта, Герцен учитывал, между прочим, и то, что пребывание за пределами родины не только не лишает его возмож-

ности продолжать начатую им борьбу против царского деспотизма, а, напротив того, превращает эту борьбу в главное дело всей его жизни. «Я остаюсь здесь, — писал Герцен в 1849 г., — не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надесть колодки, но для того, чтоб работать. Жить, сложа руки, можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме *нашего дела*». В двух направлениях решил Герцен развернуть свою деятельность; оба эти направления он считал одинаково важными с точки зрения интересов русского народа: с одной стороны, революционная пропаганда на родине, с другой — ознакомление западноевропейского общественного мнения с русским народом, о котором Запад имел фантастические сведения.

Для осуществления первой из этих задач Герцен организовал «Вольную русскую типографию». «Основание русской типографии в Лондоне, — писал он, — является делом наиболее практически революционным, какое только русский может предпринять в ожидании иных лучших дел». Начиная издательскую работу, Герцен ставил своєю задачею основать за границей бесцензурный орган, могущий служить выражением нужд, стремлений и надежд той части русского общества, которой царская цензура зажимала рот. «Мы хотели, — писал впоследствии Герцен, оглядываясь на свою лондонскую деятельность, — быть протестом России, ее криком освобождения и криком боли, мы хотели быть обличителями злодеев, останавливающих успех, губящих народ, мы их тащили на лобное место, мы их делали смешными, мы хотели быть не только мезтью русского человека, но его иронией». Эту задачу Герцен блестяще разрешил. Его издания сыграли громадную роль в истории русского общества. Получив широкое распространение в России, проникая в самые отдаленные уголки нашего отечества, они повсюду будили мысль и совесть, звали на протест против уродливых условий жизни, вербовали все новых и новых противников существующих в России порядков. Недаром политические противники Герцена так боялись попасть на страницы его «Колокола».

Второй задачей, поставленной себе Герценом, когда он решался остаться за границей, было воздействие на западноевропейское общество, не имевшее в то время ясного и верного представления о России и русском народе. По картинному выражению Герцена, на Западе на наше отечество смотрели как на «дикую силу... враждебную всему

свободному, вооруженную с ног до головы, злобно смотрящую на Европу двумя пулями вместо глаз». Герцен хотел убедить Запад в нелепости такого взгляда на Россию. «Пора,— писал он,— действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего... расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся».

И эту задачу Герцен имел основание рассматривать как до некоторой степени разрешенную им. Если ему и не удалось рассеять всю толщу предубеждений, накопившихся на Западе в отношении к России, то во всяком случае он своими литературными выступлениями пробил в этой толще значительную брешь. Он не оставлял без надлежащего ответа ни одного клеветнического выпада по адресу русского народа со стороны западноевропейской буржуазной прессы.

Все это было громадной заслугой Герцена перед родиной, и он имел полное право рассматривать свою деятельность, как «непрерывную защиту России, русского народа от его внутренних и внешних врагов». Если громадная работа, проделанная Герценом за годы его пребывания за границей на пользу родине, могла доставлять ему чувство законного удовлетворения, то тем не менее он не переставал болезненно переживать свою оторванность от России. Человек, стоявший на уровне высших достижений европейской науки и культуры его времени, человек, о котором с громадным уважением и восхищением отзывались передовые представители западноевропейского общества, человек, живо интересовавшийся всеми событиями политической, общественной, научной и художественной жизни современной ему Европы, Герцен, тем не менее, чувствовал себя *чужим на Западе*. Он писал: «Мы, собственно, живем не здесь, а дома... С каждым годом, с каждым событием мы становимся дальше и дальше от среды, в которой жить осуждены нашей деятельностью... Мы остаемся вне России только потому, что там свободное слово невозможно, а мы веруем в необходимость его высказывать. Заграничная жизнь для нас... огромная жертва, которую мы приносим нашему делу».

Патриотизм Герцена ярко отразился на его отношении к различным странам Западной Европы. Наиболее ненавистными для него были

два могущественнейших германских государства того времени — Австрия и Пруссия. За что же именно Герцен ненавидел их? Не только за то, что они служили оплотом абсолютизма и реакции в Западной Европе, но и за то, что они всемерно поддерживали реакционную политику царского правительства в России. Учитывая это, Герцен резко высказывался против попыток русского правительства вновь сблизиться с Пруссией и Австрией.

Герцен сознавал, что при ненависти к России, широко распространенной в Германии, союз ее с Россией не может быть искренним и приведет только к укреплению реакционных элементов в нашем отечестве. Герцен знал, что в наполеоновскую эпоху Германия была обязана России своим спасением от французского ига. Его поражало и возмущало, что результатом этого явилась не благодарность, а ненависть к России и русскому народу со стороны немцев и их старание ослабить всякий наш успех, задержать всякий наш человеческий порыв. Отмечая травлю России, ведущуюся современной ему германской прессой, Герцен писал: «Так и узнаешь в современных публицистах Германии, измещавшихся братьев ливонских рыцарей, не пропускавших в XVI столетии докторов в Россию».

Вражда Герцена к немцам объяснялась и той чрезвычайно вредной ролью, которую они, по его мнению, играли и в истории России, и в современной ему русской бюрократии. В «русских немцах» Герцен видел одну из главных опор реакции в России. Он не раз указывал, что прибалтийское немецкое дворянство поставляет царскому престолу наиболее верных и преданных слуг.

Влияло на отношение Герцена к немцам и то угнетение, в котором Пруссия и Австрия держали подвластные им славянские народы. Герцен знал, насколько широко был распространен среди немцев взгляд на славян, как на низшую расу, предназначенную самой природой находиться в зависимости от немцев. Герцен не мог не возмущаться таким пренебрежительным отношением к славянским народностям. Знал Герцен и о том, что руководители прусской политики мечтают об установлении господства своего отечества над другими странами. Возмущаясь этими наглыми претензиями, Герцен ни на минуту не допускал возможности осуществления мирового господства королевства Гогенцоллернов. «Я не верю, — писал он, — чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это це-

возможно, это противно человеческому смыслу, это противно исторической эстетике».

Герцен за каждой национальностью признавал право на самоопределение. Он искренно желал, чтобы его родина была свободной для всех населяющих ее народов. Крайне показательное отношение Герцена к польской проблеме, ярко проявившееся во время польского восстания 1863 года. Стремясь укрепить польско-русскую дружбу, Герцен не только признавал за Польшей право на национальную самостоятельность и независимость от России, но и словами и делом содействовал борьбе поляков за освобождение. Однако вместе с этим он энергично возражал против стремления польских националистов включить в пределы будущей Польши территории, населенные украинцами и белорусами. Резко протестуя против жестокого подавления польского восстания, Герцен считал, что этот протест дает ему «право на признательность России». И Россия устами В. И. Ленина действительно признала за ним это право. Ленин писал, что Герцен своим отношением к польскому восстанию «спас честь русской демократии» (Сочинения, т. XV, стр. 467).

Как мы видели, герценовское понимание истинного патриотизма определило выбор им своего жизненного пути. С юношеских лет Герцен решил посвятить все свои силы борьбе против абсолютизма и крепостничества. Он решил эмигрировать только после того, как окончательно убедился, что в русских политических условиях того времени он не имел возможности работать для дела освобождения русского народа. Своим заграничной деятельностью он вполне доказал правильность принятого им решения.

Отвечая в 1867 году на упреки славянофила И. С. Аксакова и на его призывы покаяться в своих грехах перед родиной, Герцен не только с полным сознанием своей правоты, но и законной гордостью писал: «Каяться мне не в чем... напротив, я зову к покаянию, я жду кающихся... Какой грех против России лежит на моей душе? С отрочества я отдал ей мою жизнь, для нее работал, как умел, всю молодость и двадцать лет на чужбине продолжал ту же работу! Я проповедывал Россию на Западе тогда, как о России... никто не смел заикаться без брани. Скорбя об вашей общей апатии и беспомощности, я поставил первый русский бесцензурный станок в Лондоне и печатал безуданно, когда все боялись читать: оттого-то,

когда пришла бодрость, вы нашли готовый орган. Печатал я под ваши рукоплескания и печатал осыпаемый бранью потом. Остановиться я не мог и не хотел, так как не мог ни устать, ни перестать любить и понимать. Остановиться значило умереть, значило второй раз оставить отечество...»

Герцен шел не всегда прямым и кратчайшим путем, он колебался, переходя от демократизма к либерализму. Однако при всех этих колебаниях «демократ все же брал в нем верх» (В. И. Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 467). Герцену не удалось быть свидетелем освобождения русского народа: но жизнь его не прошла даром. Революционная работа, выполняемая Герценом, имела громадное историческое значение. Именно это имел в виду Ленин, когда писал про Герцена: «беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы» (там же, стр. 469).

Эти слова Ленина — лучшая характеристика всей жизни и деятельности великого русского революционера и патриота Александра Ивановича Герцена.

Б. Козьмин

О ЛЮБВИ К РОДИНЕ

С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться; слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали. С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей, и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремят по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...

В нашей бедной северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Сорренто, ни римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелящейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное, что-то такое, что поется в русской песне, что кровно отзывается в русском сердце.

И какой славный народ живет в этих селах! Мне не случилось еще встречать таких крестьян, как наши великорусы и украинцы.

«Крещеная собственность». 1853 г.

Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о Соколовской¹ жизни, и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования. — Я страшно люблю Россию и русских, — только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел во французском работнике. — Это два народа будущего, т. е. не французы, а работники.

Письмо к московским друзьям из Парижа 1848 г.

Славянофилы постоянно набрасывают на нас смешной и жалкий упрек, что мы ненавидим Россию; да из которой же стороны наших слов, дел, мнений это видно? Неужели из того, что мы страдали, а они нет? что мы становились в оппозицию, которая только могла нас вести в ссылку, а они нет? Дело, кажется, просто, и одна узкая нетерпимость их могла взвести на нас пошлое обвинение. Мы разное поняли вопрос о современности, мы разного ждем, желаем; разве это мешает нам быть столько же патриотическими? Да, в наш патриотизм входит общечеловеческое, и не только входит, но занимает первое место; а у них разве христианство — какое-нибудь суздальское явление. Из этого никак не следует, что мы протянули друг другу руки, — нет, но не следует и того, чтобы вся монополия любви к отечеству принадлежала им, и они имели бы право нас упрекать в ненависти к России. У больного два врача: один думает лечить его от гемороя, другой от чахотки; быть может, что они оба неправы; однако, где же достаточная причина считать того или другого отравителем? Они могут ни в чем не соглашаться, но цель их остается та же: желание излечить больного. Им нужно былое, предание, прошедшее, — нам хочется оторвать от него Россию; словом, мы не хотим той Руси, которой и нет, т. е. до-петровской, а той новой Руси они совершенно не знают, они отрицают ее так, как мы отрицаем древнюю.

Дневник. Запись 23 февраля 1845 г.

¹ Соколово — подмосковное имение, в котором Герцен и Грановский жили летом на даче.

Они [славянофилы] считают себя имеющими исключительное право на патриотизм и более русскими, чем кто бы то ни было; они постоянно упрекают нас за наше негодование против существующего строя России, за нелюбовь к народу, за наши горькие и гневные слова, за нашу откровенность, состоящую в том, что мы выставляем на свет темные стороны русской жизни.

Казалось бы, однако, что партия, каждый член которой подвергает себя опасности быть повешенным, сосланным на каторгу, лишиться имущества или эмигрировать за границу, — не лишена ни патриотизма, ни убеждений. Насколько нам известно, 14 декабря не было делом славянофилов; все преследования достались на нашу долю, а славянофилов судьба до сих пор щадила.

Да, есть ненависть в нашей любви: мы возмущены; мы упрекаем народ в той же степени, как правительство, за то состояние, в котором находимся; мы не боимся высказывать самую жесткую правду, но мы это делаем, потому что любим. Мы не бежим от настоящего в прошедшее, потому что знаем, что последняя страница истории есть наша соприемлемая действительность. Мы не закрываем уши от стонов народного горя, и у нас хватает мужества признавать с сокрушенным сердцем, насколько рабство его развращает; скрывать эти печальные выводы, это — не любовь, а тщеславие. У нас перед глазами крепостное состояние, а нас обвиняют в клевете; хотят, чтобы печальная картина мужика, ограбленного дворянством и правительством, продаваемого почти на вес, обесчещенного розгами, поставленного вне закона, не преследовала нас день и ночь, как угрызение совести, как обвинение...

Великий обвинительный акт, который русская литература составляет против русской жизни, ее полное и горячее отречение от собственных ошибок, ее исповедь, приходящая в ужас от своего прошлого, ее горькая ирония, заставляющая краснеть от настоящего, все это — наша надежда, это — наше спасение, прогрессивный элемент русской гатуры.

«О развитии революционных идей в России». 1851 г.

Издателю «The Morning Advertiser»

М. Г. — Вы поместили на столбах вашей газеты письмо, в котором автор, пользуясь моею немецкою фамилиею, отрицает мое русское происхождение.

Как незаконный сын Ивана Яковлева, я называюсь не именем отца, а тою фамилиею, которую отец счел нужным мне дать.

Я родился в Москве, учился в университете этого города и всю свою жизнь, до 1847 г., провел в России.

Русский по рождению, русский по воспитанию и, — позвольте прибавить: несмотря или, скорее, вследствие теперешнего положения дел, — русский сердцем своим, я считаю своим долгом громко требовать в Европе права происхождения, которого никогда не отрицали у меня в России ни признавшая меня революционная партия, ни царь, преследовавший меня.

Что же касается того, что международный комитет избрал меня, как представителя русской революционной партии, то думаю, что комитет может на это сам отвечать.

Остаюсь, М. Г., искренно преданный вам

1885 г.

Александр Герцен.

¹ В 1855 г. международный комитет, объединявший политических эмигрантов различных национальностей, проживавших в Лондоне, решил ознаменовать годовщину февральской революции 1848 г. устройством международного митинга и предложил Герцену выступить на нем в качестве представителя России. Русский эмигрант Головин, интриган, беспринципный и чрезвычайно честолюбивый человек, обиженный тем, что приглашение выступить на митинге сделано не ему, а Герцену, опубликовал в английской газете «The Morning Advertiser» протест, в котором, между прочим, утверждал, что Герцен по национальности не русский. Герцен счел нужным ответить на эту нелепую клевету письмом в редакцию названной выше английской газеты.

Я тоже люблю народ русский, я его покинул из любви, я не мог сложа руки и молча остаться зрителем тех ужасов, которые над ним делали помещики и чиновники.

Удаление мое не изменило моих чувств; середь чужих, середь страстей, вызванных войной, я не свернул моего знамени.

«Письмо к императору Александру Второму».
1855 г.

Понимает ли он [В. П. Боткин], что при ненависти к деспотизму сквозь каждую строку [„Былого и дум“] видна любовь к народу?

Письмо к И. С. Тургеневу. 18 января 1857 г.

Вы говорите, что я все браню в России. Полно всё ли? Вы, мне кажется, думаете, что я имею какой-то зуб на Россию, что я полон нелюбви ко всему русскому. Уверять в противном я не стану, а скажу только, что вся моя жизнь, все мои слова, все, что я делал и делаю, — лучшее возращение на ваше замечание.

«Ответ русской даме». 1859 г.

Я страстно хочу вас видеть — и что за дело до несогласий? В чем они?.. В любви искренней, святой к русскому народу, к русскому делу? Я не уступлю ни вам, ни всем Аксаковым. Но с правительством вместе не пойду, — с немедким правительством Петербурга.

Письмо к Ю. Ф. Самарину. 12 июня 1864 г.

Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его умный, развязный вид, на его мужественные красивые черты, на его крепкое сложение, что в нем таится какая-нибудь иная сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость? Неужели вам не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя,

что, кроме официальной, правительственной России, есть другая, что, кроме Муравьева, который *вешает*¹, есть Муравьевы, которых *вешают*?

«Россия и Польша». 1859 г.

Теперь нас называют изменниками.

А ведь мы те же, стоим на том же чужом берегу, как в 61 году,— может, немного виднее от понижения хора. Слабые разбежались от страха, фанатики — от изуверства; людишки, никогда не знавшие, что такое боль по народной боли, клеветавшие на нашего крестьянина, чтоб оправдать свое безучастие, свое эстетическое *far niente*² и эпикурейское дегустаторство жизни; людишки, таскавшиеся годы из угла в угол Европы, не зная, что делается в России, когда мы рвались страстью и мыслью домой, и следили с лихорадкой за каждой подробностью крестьянского дела... и эти-то людишки, туда же, отвернулись от нас с патриотическим негодованием... Ха, ха, ха...

Нет, не ждите моего раскаяния. Я все же скорее пойду в кабак, чем в земский суд. Моя совесть покойна, и не только совесть, — покойна и незыблема моя любовь к русскому народу; что же бы я был без нее? Вся теплая, личная, поэтическая сторона моего нравственного бытия только в этой любви и в уповании, основанном на ней; потому-то я так ненавижу и *их* Петербург, и *вашу* Москву, и всю эту отвратительную империю, которой пульс меряется кнутом и пролитой кровью мучеников и которой каждая победа — обида всему, что дорого человеку.

Мы не можем изменить нашему воззрению, это сильнее нас, да и не хотим вовсе. Пусть все идет прочь, пусть идут старые друзья... их столько ушло, что остальных жалеть

¹ М. Н. Муравьев, брат декабриста А. Н. Муравьева, прославившийся жестокой расправой с польскими повстанцами в 1863 г. М. Н. Муравьев, после казни декабриста С. И. Муравьева-Апостола, говорил, что он «не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают»...

² Ничего неделание.

нечего. Пусть, читая на память свежие уроки своих профессоров рабства, идет прочь часть молодого поколения. Жаль его, но мы знаем, как его воспитали нравственные кастраты, испугавшиеся *слишком большой воли*, захватившей их после смерти Николая, трусы, торопившиеся подтянуть паруса, чтоб избежать бурь и кораблекрушений в корыте...

Мы останемся в смиренной грусти ждать другого прилива... Придет он или нет, придет на радость или на горе, мы все же не изменим ни истине, ни русскому народу... и, если не можем ничем другим ему быть полезными, то будем полезны тем, что искупим его и вас в глазах грядущих поколений, свидетельствуя, что были же трезвые люди, когда вы все опьянели на царской попойке от страха перед Европой и от дешевой поддельной „валуевки“.

Придет время,— и, вероятно, оно не за горами,— мы скажем своим и чужим, что мы делали во время кровавой борьбы... Ошибались мы или нет, не знаем, но знаем, что любовь наша равно не изменила ни родным, ни друзьям, что мысль наша ни на волос не отошла от тех оснований, на которых мы жили всю нашу жизнь, во имя которых говорилось каждое слово наше.

«Колокол» и «День». 1863 г.

Нас душит, нам щемит сердце, что посторонние нас судят исключительно по патриотическому приапизму „Московских Ведомостей“...¹ Нам досадно, что в Европе не знают, что за реакционными съезжими выслуживающихся журналистов, за схимническими чуланами богобеснующихся кликуш, за зелеными столами петербургских канцелярий — и „ломберными“ — английских клубов *растет другая Россия*, — Россия надежд и юных сил, которая не отвечает за черные дела, втесненные ей во время ее малолетства опекунами, ни за черные слова подкупленных ими стряпчих.

¹ Герцен имеет в виду шовинистическую пропаганду, которую вел Катков на страницах своей газеты «Московские ведомости».

От имени входящих в совершеннолетие и не имеющих ни языка дома, ни органа за границей, мы являемся с поднятой головой и с свободной речью защитниками нашей России перед судьями старого мира.

Заявление Герцена о выходе «Колокола» на французском языке. 1867 г.

Начиная с 1848 мы проповедывали, что под Россией военнодеспотической, завоевательной и агрессивной спасающей Австрию и помогающей реакции, есть другая Россия, в процессе зарождения, что подземные течения веют совсем иным воздухом, нежели воздух официального Петербурга.

Все предавались отчаянию и не внимали этому слову утешения.

Но то, что до Крымской войны казалось парадоксальным, то тотчас же после нее сделалось очевидным и неоспоримым фактом.

«Prolegomena». 1867 г.

В России сверх царя есть народ; сверх люда казенного, притесняющего, есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца, есть Русь крепостная, Русь рудников. Во имя этой-то Руси должен здесь быть услышан русский голос.

Спешу сказать, что я не имею никакого уполномочия от русских выходцев. Они не составляют сомкнутого общества. Полномочие мое говорить во имя России — вся моя жизнь, моя привязанность к русскому народу, моя ненависть к царю.

Да, я имею смелость высказать это, я считаю себя представителем мысли восстания в России среди вас, я имею право на голос; это говорят мне мое сердце, мое сознание, моя совесть.

Седьмой год издаю я сочинения о России. Сначала европейская публика, озадаченная неистовым поведением постановленных властей после 1848 года, слушала мои слова

снисходительно. Теперь времена изменились; война возбудила удивительно боевой дух, особенно в некоторых немецких газетах; они дошли до яростной нетерпимости¹. Мне стали ставить, в укор любовь мою к славянам, мою веру в величие их будущности, наконец, самую мою деятельность...

Доселе никогда еще не требовали ни от одного выходца или изгнанника, чтоб он ненавидел свое племя, свой народ. У нас отнимают настоящее, нас хотят лишить будущего, хотят убить нашу надежду!

Если б я ненавидел русский народ, если б я не верил в него, меня бы не было здесь.

«Народный сход в память февральской революции». Речь, произнесенная 27 февраля 1855 г. на международном митинге, организованном в Лондоне политическими эмигрантами различных национальностей в ознаменование годовщины французской революции 1848 г.

Я из России выехал за тем, чтобы не видеть офицерства и чиновничества, чтобы не видеть всех этих Ноздревых и Хлестаковых.

«Письма из Франции и Италии». 1850 г.

В Неаполе в 1848 году, я впервые прочел „Антон-Горемыку“², простую историю крестьянина, которого преследует бурмистр за то, что он под диктовку других крестьян написал помещику прошение, направленное против этого бурмистра. Это „memento patriam“³ было особенно тяжело в переживаемую Италией революционную пору, под сладким, ласкающим воздухом Средиземного моря. Я чувствовал угрызения совести; мне было стыдно находиться там,

¹ Во время Крымской войны многие немецкие газеты вели клеветническую кампанию против России и русского народа, настаивая на присоединении германских государств к врагам России.

² «Антон-Горемыка» — повесть Д. В. Григоровича, напечатанная в 1847 году.

³ Помни о родине.

где я находился. Крепостной мужик, прежде времени изможденный, бедный, добрый, кроткий, невиноватый и, есе же, бредущий с цепями на ногах в Сибирь, неотступно преследовал меня среди чудесного народа, у которого я жил.

«О романе из народной жизни в России».
1857 г.

Мы любим русский народ и Россию, но не одержимы никаким патриотическим любострастием, никаким бешенством руссомании; и это не потому, чтоб мы были стертыми космополитами, а просто потому, что наша любовь к отечеству не идет ни до вымыслов несуществующего, ни до той стадной солидарности, которая оправдывает злодеяния и участвует в преступлениях. Для нас всегда существовали интересы выше и дороже всех патриотизмов в мире; мы никогда не подкрашивали объективной истины никакими красками личными, семейными или племенными и также, не обинуясь, говорим *теперь* о будущности русского народа, как, не оглядываясь и не рассчитывая, стали со стороны Польши с самого начала восстания.

Народ русский для нас — *больше, чем родина*. Мы в нем видим ту почву, на которой разовьется новый государственный строй, — почву, не только не заглохшую, не истощенную, но носящую в себе все зерна исхода, все условия развития. Будущность ее — для нас логическое заключение.

Тут речь не о священной миссии, не о великом призвании, — весь этот юдаический и теологический хлам далек от нашей мысли. Мы не говорим, видя беременную женщину, что ее миссия быть матерью, но, без сомнения, считаем себя в праве сказать, что она родит, если ей не помешают.

Убеждение наше, что в России осуществится часть социальных стремлений, совершенно независимо от того, что мы родились в России. Физиологическое сродство, кровная связь с народом, со средой, может, предшествовали пониманию, ускорили, облегчили его, но вывод, однажды достигнутый, — или вздор, или должен стать независимо от пристрастий и случайностей. Человек, родившийся в

Берлине или Потсдаме, вероятно, имеет какую-нибудь привязанность к родине; но что же может он вывести из своей любви к отечеству, кроме необходимости разложения уродливого прусского королевства?

«В вечность грядущему 1863 году». 1863 г.

Чтоб и нам не впасть в израильский грех и не считать себя народом Божиим, как это делают наши (двоюродные) братья славянофилы, мы заметим, мимоходом, что история не так просто и легко двигается, чтоб ездить в одиночку; она скорей похожа на тяжелый дилижанс, который тащат в гору разные клячки, одна посильнее, другая послабее, одна моложе, другая старше, но каждая тащит постромку. В числе лошадей, употребляемых на историческую гоньбу, есть добрые кони, но ни одного, который бы не имел своих пороков, ни одного, который бы в одиночку стащил старый рыдван.

«Западные книги». 1857 г.

...Если б мы верили, что русский народ в своем азиатском раболепии любит господство над другими народами и в силу этого выносит рабство, и в силу этого станет теперь за правительство, против Польши, нам осталось бы только желать, чтоб Россия, как государство, была унижена, обесславлена, разбита на части, желать, чтоб оскорбленный и погранный народ русский начал *новую жизнь*, для которой память прошедшего была бы угрызением совести и грозным уроком.

Но не будем клеветать на него.

«Преступления в Польше». 1863 г.

Мы желали бы только исследования, чтобы или констатировать наше заблуждение, или признать нашу правоту. Вместо этого поднялись крики тревоги и озлобления, стали придумывать этнографические оскорбления, осыпать Россию ударами поддельной филологии. Ее изгоняют из Евро-

пы, ее изгоняют из иранской семьи¹. И неужели все это серьезно?

Наш храбрый враг даже не знает, что мы очень мало уязвимы с этой стороны. Мы выше зоологической шепетильности и очень безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Нас изгоняют из Европы, как господь бог изгнал из рая Адама. Но твердо ли вы уверены, что мы принимаем Европу за рай и титул европейца — за почетный титул? В этом можно иногда серьезно ошибиться. Мы не краснеем от того, что мы из Азии, и не чувствуем потребности присоединиться к кому-нибудь направо или налево. Мы довольны сами себе, мы — *часть мира между Америкой и Европой*, и этого с нас довольно. Возможно, что петербургские немцы сильно скандализированы утратой своего чистого славизма, своего иафетова иранства и глубоко оскорблены тем, что в Европе их знать не хотят. Возможно, что ярые москвичи, для довершения комизма, начнут по этому вопросу ученую войну, но нам до этого нет никакого дела.

И если мы настроены так философски, то это благодаря вам, наши западные учителя, благодаря вашей науке. Остальные во всем, мы побывали в выучке у вас — и мы не повернули вспять *перед выводами, заставившими вас свернуть в сторону*. Мы не скрываем ценностей, полученных нами от вас. Мы позаимствовали у вас свет, чтобы осветить весь ужас своего положения, чтобы искать выхода — и, благодаря вам, мы нашли его. И теперь, когда мы научились ходить самостоятельно, с нас довольно учительской ферулы, и если вы третируете нас — то прощай школа.

Но прежде, чем расстаться с нами по всем правилам церемонии, скажите, зачем понадобилось вам, во что бы то ни стало, нажить себе врага в *молодом медведе*? Или

¹ В 60-х годах прошлого века польский публицист Духинский, ненавидевший Россию и русский народ, выступил в печати с нелепой теорией, отрицавшей славянское происхождение русского народа. Духинский причислял русских к туранским народностям.

вам недостаточно воевать со *старым* медведем, который еще враждебнее нам, чем вам, и которого мы ненавидим сильнее, чем вы? Подумайте о том, что *старый* куда больше зависит от вас, чем *молодой*: он морально несвободен, на него вы давите всем вашим авторитетом. Он ворчит, он дует, но его задевает ваша критика, потому что он уважает и боится вас, — не физической вашей силы, а вашего умственного превосходства, вашей аристократической спеси. У нас же нехватает *шишки почтительности*; у нас нет равного чувства уважения ко всему, что только идет с Запада. Мы изредка видели вас очень слабыми. Единственное, что мы почитаем у вас беспредельно, религиозно, это — наука. Но *наука* — ведь это прямая противоположность вашим учреждениям, вашей нетерпимости, вашему состоянию, вашей морали, вашим верованиям. Вы владеете искусством покрывать благородными стремлениями и возвышенной последовательностью пропасть, отделяющую науку от жизни, но пропасть, все-таки, остается.

Мы видели вас слишком близко, и мы вас знаем: мы привыкли любить и знать вас; вы нас не знаете и отрицаете. Мы протестуем.

Часовые, затерянные на границе двух миров, натравливаемых друг на друга, тысячью нитей кровно связанные с обоими, мы не можем молчать и решаемся еще раз указать вам на ложный путь и с высоты своей сторожевой вышки крикнуть: „Берегитесь ошибки!“

«Prolegomena». 1867 г.

О РУССКОМ НАРОДЕ

Россия, кроме окраин своих, представляет сплошное единство, сходное по крови, по языку, по духу. Каждый русский сознает себя частью всей державы, сознает родство свое со всем народонаселением, воспитанным в том же сельском быту, с своим общинным порядком и разде-

лением полей. Оттого-то, где бы русский ни жил в огромных пространствах между Балтикой и Тихим океаном, он прислушивается, когда враги переходят русскую границу, и готов идти на помощь Москве так, как шел в 1612 и 1812 годах.

«Россия и Польша». 1859 г.

Бедный, бедный русский мужик. И что досаднее всего видеть,—средство поправить его состояние по большей части под руками; алчность помещиков и неустройство государственных крестьян повергает их в это положение. Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно-преступным жить в роскоши; обыкновенно мужик здешней полосы никогда не ест мяса, у него едва хватает хлеба; коли побогаче, ест капусту; он каждый день с своей семьей отгрывается от голодной смерти. О запасах думать нечего; умри лошадь, корова,—он пошел ко дну. У кого много работников в семье, те живут получше, но много ли таких? Возле их бедных полей богатые поля помещика, обработанные его руками, скирды хлеба, копны сена—какое ангельское самоотвержение! Сегодня приходили к окну нищие из соседней деревни: помещик выгоняет их ежедневно на работу поголовно,—у них хлеба нет, это бросается в глаза, а если есть только хлеб, то совесть помещика чиста: чего же им более? они сыты... Мы дивимся гладиаторам, а разве через век не будут дивиться нам, нашей свирепой жестокости, отсутствию человеколюбия в нас?

Дневник. Запись 26 июня 1843 г.

Никто не хочет у нас ломать ничего народного, основного, никто ничего создавать по отвлеченному идеалу, все это—старая, консервативная болтовня. Хотят устранить препятствия, снять ненужные преграды, хотят развязать руки, развязать мысль, отрицают *собственно отрицательное*, мешающее, искажающее, гнетущее, полумертвое.

Хотят дать волю народному складу и мысли, искусившейся опытом других...

Пусть рухнет эта империя, выработавшая свой тип в Аракчееве, пусть пойдет по-миру дворянство, отбивавшее два века кусок хлеба у народа, пусть пропадет, наконец, это мишурное образование, ложное, безнравственное, умевшее прежде ужиться с крепостным правом, а теперь с палачами и доносчиками... Народ русский не погибнет ни с петербургской династией, ни с английским клубом в Москве...

На этом глубоком сознании нашей свободы и соответствии наших стремлений с бытом народным неизбежно основана наша вера, наша надежда. И вот почему середь скорби и негодования мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд и зовем нашим звоном к делу и борьбе!

«1864»

Мно всякий раз становится не по себе, когда говорят о народе. В наш демократический век нет ни одного слова, которое бы так мало понимали и так употребляли во зло. Понятие, сопрягаемое с ним, неопределенно, преувеличено, поверхностно, полно риторики в похвалах и порицаниях; одни поднимают народ до небес и делают из него какого-то прорицателя законов, неписанный разум, судию, другие топчут его в грязь, называя грубой толпой. Все эти разглагольствования, умиления, негодования и декламации не прибавляют ни на волос к пониманию этой гранитной основы государств и человечества, связанной цементом вековых воспоминаний и кровного родства...

Народ туго и нескоро восстает; он не играет, не шутит переменами, он так беден, что долго не рискует последним; его восстание всегда глубоко выстраданное. Если оно неудачно, преждевременно, целые племена, государства гибнут, глохнут.

«Крещеная собственность». 1853 г.

Вчера деревенские мальчики приходили играть к Саше¹; мне грустно было смотреть на них. С каким радушием наперерыв они старались чем-нибудь потешить Сашу. Низшие классы ужасно оклеветаны. Посмотрите, как добр, как весь предается ласке простолудин (разумеется, исключая дворовых), — стоит с ним обходиться по-человечески. Грубые приемы наши ставят его en garde²; самая привычка подозревать, что его хотят обидеть, насторожила их. Но когда он уверится, что к нему подходят с любовью, он встрепенется и рад жизнь положить за всякого. Горе людям, пользующимся властью, чтоб еще более втапывать в грязь народ, и стыд им за клевету, подлую и низкую, на них: они клеветают, чтоб оправдаться. А те, бедные, не имеют этой последовательности ненависти к истинно враждебному стану.

Дневник. Запись 14 июня 1843 г.

Мне кажется, что в русской жизни есть нечто, более возвышенное, чем община, и более сильное, чем власть; это „нечто“ трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя, силе, которая так удивительно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и западной розгой капрала, — я говорю о той внутренней силе, благодаря которой, несмотря на унижительную дисциплину рабства, русский крестьянин сохранил открытое красивое лицо и живой ум, и которая на императорский приказ ввести цивилизацию ответила, спустя столетие, колоссальным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе и той вере в себя, которые волнуют нашу грудь. Сила эта, независимо от всех внешних случайностей и несмотря на них, сохранила

¹ Саша — сын Герцена, родившийся в 1839 г. Герцен с семьей в это время жил в подмосковном имении Покровском.

² Настороже.

русский народ и покровительствовала его непоколебимой вере в себя.

«Россия». 1849 г.

Очень распространенная в России сказка гласит, что царь, подозревая жену в неверности, запер ее с сыном в бочку, потом велел засмолить бочку и бросить в море.

Много лет плавала бочка по морю.

Между тем царевич рос не по дням, а по часам, и уже стал упираться ногами и головой в донья бочки. С каждым днем становилось ему теснее да теснее. Однажды сказал он матери:

— Государыня-матушка, позволь протянуться в волюшку.

— Светик мой, царевич, — отвечала мать, — не прогибайся. Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде.

Царевич смолк и, подумавши, сказал:

Протянусь, матушка; лучше раз протянуться в волюшку да умереть.

В этой сказке... вся наша история.

Горе России, если в ней переведутся смелые люди, рисующие всем, чтобы хоть раз протянуться в волюшку.

Но этого бояться нечего...

«Русский народ и социализм». 1851 г.

Со времени Петра I много говорили о способности к подражанию, которую русские доводили до смешного. Некоторые немецкие ученые утверждали, что славяне лишены всякой самобытности, свойственной только немцам, что их отличительное свойство ограничивается переимчивостью. На самом деле, славянская национальность обладает большою упругостью; раз она вышла из патриотической исключительности, она больше не находит непреодолимых препятствий для понимания других национальностей. Немецкая наука, которая не переходит за Рейн, и английская поэзия, которая искажается при переправе через Па-де-Калэ, уже давно приобрели право гражданства у славян. К этому надо прибавить, что в основе такой славянской переимчи-

ности есть нечто оригинальное, нечто такое, что хотя и поддается внешним влияниям, но сохраняет и свой собственный самобытный характер.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Характер русских славян имеет большое сродство с характером всех славян, начиная с иллирийцев и черногорцев и кончая поляками, с которыми русским приходилось так долго бороться.

Чем отличаются более всего русские славяне (кроме иностранного влияния, которому подвергались различные славянские племена), это — не прекращавшимся, настойчивым стремлением устроиться в независимое и сильное государство. Этой социальной пластичности более или менее недоставало другим славянским расам, даже полякам. Стремление устроить и расширить государство пробуждается со времен первых князей, прибывших в Киев... Ее узнаешь в том всеобщем увлечении, с каким русский народ массами восстал (в 1612 и 1812 гг.), когда он устранился за свою национальную независимость...

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Мы года два тому назад, во второй или третий последний раз закаялись отвечать иностранной прессе, и решительно видим, что это свыше сил человеческих. Пока идет речь об нас, об людях, нам близких, можно молчать, но когда говорят о всем народе русском, о всей будущности России, и какой-нибудь орган, пользующийся уважением Европы... начинает судить и рядить о судьбе нашей, умеряя тупость суждений ненавистью и смягчая недостаток сведений избытком страха, — молчать невозможно.

Глубже всех европейцев вместе чувствуем мы, как много ненависти заслужила Россия и как естественны, справедливы, необходимы при отвратительном зрелище барских

пиров у подножия виселиц слова строгого негодования, порицания, проклятия. Но мы в праве требовать, чтобы Россию ненавидели за то, что в ней ненавистно, и нас возмущает, когда наши *мирные враги* готовы примириться и с русскими политическими тюрьмами, и с судьбами Польши, и с мерами Муравьева, но не могут переломить досады и ненависти ко всякому человеческому, свободному развитию России...

«Русская конституция и английский журнал».
1864 г.

Он был великий артист по призванию и по труду¹. Он создал правду на русской сцене, он первый стал не *театрален* на театре, его воспроизведения были без малейшей фразы, без аффектации, без шаржа...

Щепкин и Мочалов — без сомнения, два лучших артиста из всех виденных мною в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы. Оба принадлежат к тем *намекам* на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России.

В разбор таланта и сценического значения Щепкина мы не взойдем; заметим только, что он был вовсе не похож на Мочалова. Мочалов был человек порыва, не приведенного в покорность и строй вдохновения; средства его не были ему послушны, скорее он — им. Мочалов не работал: он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращавший его в Гамлета, Лира или Карла Моора, и поджидал его... а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роль. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения. Он так же мало был похож на Каратыгина, этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у

¹ Написано по получении известия о смерти знаменитого артиста Малого театра в Москве М. С. Щепкина.

которого все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его. Игра Щепкина вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью; изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт.

«Михаил Семенович Щепкин». 1863 г.

Дай бог Виардо и Рубини, чтоб их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и бесконечную песнь бурлака, сторожащего ночью барки, — песнь унылую, прерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком. Мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки... Мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную; что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль; что его душа звучит, потому что ей грустно, потому что ей тесно, и пр., и пр.

«Кто виноват?» 1845 г.

Все поэтические элементы, бродившие в душе русского народа, изливались в песнях, чрезвычайно мелодичных. Славянские народы — певцы по преимуществу. Византийские летописцы рассказывают, что, во время одного нашествия славян, грекам удалось напасть на них врасплох, благодаря тому, что часовые все пели и мало-помалу заснули под свое пение. Русский мужик находил в своих песнях единственное излияние для своих страданий. Он поет постоянно: когда работает, когда ведет свою лошадь, когда отдыхает у порога своей двери. Эти песни отличаются от песен других славян и даже малороссов глубокой грустью. Слова их — сплошная жалоба, которая теряется, как и его горе, в беспредельных равнинах, в мрачных хвойных лесах, в бесконечных степях, не встречая дружеского отзвука. Эта пе-

чаль — не страстное стремление к чему-нибудь идеальному; в ней нет ничего романтического, не слышится болезненных монашеских стремлений¹, как в немецких песнях; это — горе задавленной роком личности, это — упрек „судьбемачехе“, горькой судьбине, это — сдавленное желание, не осмеливающееся проявиться в иной форме, это — песнь женщины, угнетенной своим мужем, мужа, угнетенного своим отцом или старшим, всех, наконец, угнетенных помещиком или царем; это — любовь глубокая, страстная, несчастная, но земная и реальная. Среди этих меланхолических песен вы вдруг слышите звуки оргии, безудержного веселья, страстные и безумные крики, слова, лишенные смысла, но которые опьяняют, увлекают в бешеной пляске — совсем не то, что *драматический* и грациозный хоровод.

В горе или в кутежах, в рабстве или среди безвластия, русский крестьянин проводил жизнь в бродяжничестве, без очага и крова, или был поглощен общиной, терялся в семье или гулял свободный в лесах с ножом за поясом.

В обоих случаях песня выражала одну и ту же жалобу, одни и те же разочарования: то был глухой голос, который вещал, что врожденные силы не находили достаточного выхода, что они чувствовали себя не по себе в жизни, стесненной общественным строем.

Есть целый разряд русских песен, — разбойничьи песни. Это уже не жалобные элегии; это — смелый крик, избыток веселья человека, чувствующего себя, наконец, свободным; это — крик угрожающий, гневный и вызывающий.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Да, спящий „Северный колосс“, „Исполин, царю послушный“, просыпается, и вовсе не таким послушным, как во времена Гавриила Романовича Державина.

¹ То же следует заметить и о героях песен: Илья Муромец, Иван Царевич и пр. имеют гораздо больше сходства с героями Гомера, чем с героями средних веков; «богатырь», это не рыцарь, как не рыцарь и Ахилл. — А. И. Г.

Доброго утра тебе, пора, пора! богатырский был твой сон, ну, и проснись богатырем! Потянись во всю длину молодецкую, вздохни свежим, утренним воздухом да и чихни, чтоб спугнуть всю эту стаю сов, воронов, вампиров, Путятиных, Муравьевых, Игнатьевых¹ и других нетопырей. Ты просыпашься — пора им на покой... Чихни, исполни,— и от них следа не останется, кроме несмываемых пятен польской и крестьянской крови!

Господи, какой жалкий и смешной вид у этого грозного правительства! Куда делась его вахмистрская наружность, его фельдфебельская выправка, где его сипло-армейский голос, которым оно тридцать лет кричало: „В гроб заколочу Демосфена“. ...Что, служивый, видно, не те времена, да и не те силы, — широк тебе стал мундир, насунулась каска на глаза... Ступай, кавалер, в больницу, не то в инвалиды!..

В России закрыты университеты...

Ну куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам, куда?

Прислушайтесь, благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот; — это — начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. *В народ! к народу!* — вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам², что из вас выйдут не *подьячие*, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского!

Хвала вам! вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы *тайно* еще печатаете дома, но *явно* протестуете.

¹ Путятин — министр народного просвещения. — О Муравьеве см. стр. 20. Игнатьев П. Н., граф — петербургский обер-полицеймейстер. Путятин и Игнатьев руководили борьбой против студенческих волнений, происходивших в Петербурге осенью 1861 г. и послуживших поводом к написанию настоящей статьи Герцена. Дело кончилось закрытием Петербургского университета.

² Бистром — один из офицеров, участвовавших в подавлении студенческого движения.

Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнейшее благословение! О, если б вы знали, как билось сердце, как слезы готовы были литься, когда мы читали о студентском дне в Петербурге!

«Исполни просыпается». 1861 г.

Все то, что ставится так дорого другим народам, России — не было зачтено ни во что или, хуже, послужило ей же в обвинение: ни то, что она уцелела под татарским игом, ни то, что втихомолку выросла и сложилась в огромное государство, отбившееся от всех соседей и сохранившее свою самостоятельность; ни ее 1612, ни ее 1812 год. О пожаре Москвы говорят только потому, что слишком много иноплеменников видели зарево. Избавила ли Россия Европу от грубого солдатского гнета, или заменила его другим, — об этом может быть вопрос; но что Россия спасла Германию от французского ига, в этом нет никакого вопроса. Разверните Штейна¹, Арндта² и других современников и посмотрите, как, в черную годину для Германии, лучшие люди ее глядели на Александра I и на Россию. Что же вышло из этого? Полнейшая ненависть не к русскому правительству — кто его не ненавидел, — не к русскому вмешательству, а к русскому народу, ко всякому нашему успеху, ко всякому нашему человеческому порыву. Так и узнаешь в современных публицистах Германии измещанившихся братьев ливонских рыцарей, не пропускавших в XVI столетии докторов в Россию. Не странно ли все это?

Вот вам еще пример: Англия, ломящаяся от тучности и избытка сил, выступает за берега, переплывает за океа-

¹ Генрих-Фридрих Штейн — прусский государственный деятель, вынужденный в 1808 г. оставить правительственную деятельность по требованию Наполеона I, обвинявшего Штейна в подготовке Пруссии к борьбе с Францией. После этого и до падения Наполеона Штейн жил в России.

² Эрнст-Мориц Арндт — немецкий поэт, резко выступавший во времена Наполеона I против французского господства.

ны и создает новые миры. Ей удивляются, и она заслуживает это удивление. Но так ли смотрят на подвиги колонизации Сибири, на ее почти бескровное завоевание? Горсть казаков и несколько сот бездомных мужиков перешли на свой страх океаны льда и снега, и везде, где оседали усталые кучки в мерзлых степях, забытых природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это от Перми до Тихого океана... И такие колоссальные события едва помечены историей или помечены для того, чтобы поразить воображение дантовским образом ледяного острога в несколько тысяч верст...

«Россия и Польша». 1859 г.

Казачество было отворенная дверь людям, не любящим покоя, ищущим движения, опасности, независимости. Оно соответствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое рядом с мирным и добродушным нравом славян составляет их характеристику.

Общинный дружинник, казак, становился бессменной стражей на крайних пределах отечества и берег его; он не хотел знать никакого правительства, кроме своего выборного, лучше становился разбойником, нежели подданным, но родине служил верой и правдой и, не жалея, лил за нее свою кровь. Запорожцы были славянские витязи, витязи-мужики, странствующие рыцари черного народа.

Привычные к войне и дороге, казаки имели те неопределенные влечения, то политическое чутье, те пророческие догадки, которыми отличались норманны. Горсть казаков завоевала Сибирь. Ермак не остановился на Тобольске, он добрался до Иркутска и там сложил свою буйную голову. Другой казак¹ после него, с своей небольшой дружиной пробился сквозь льды и степи до морского берега, как будто что-то непреодолимое тянуло их к Тихому океану,

¹ Герцен имеет в виду казака Дежнева, достигшего Берингова пролива, отделяющего Азию от Америки, в 1648 г., то есть за 80 лет до открытия этого пролива Берингом.

к этому Средиземному морю будущего; как будто они провидели всю важность поставить Русь лицом к лицу с Северо-Американскими Штатами...

...Казачи явились в 1812 году тем же отважным, лихим войском, какими были прежде. Они вносили в регулярную армию поэтический и народный элемент. Без строя и выправки, с пикой и бородой, на маленьких лошадаках с длинной гривой, они рассыпались, исчезали, нападали со страшной дерзостью и ускользали с восточной уклончивостью. Они всего больше остались в памяти неприятеля.

«Крещеная собственность». 1853 г.

Они¹ не понимают, что новая Русь была Русь же; они не понимают, что с петровского разрыва на две Руси начинается наша настоящая история; при многом скорбном этом разъединении, отсюда — все, что у нас есть: смелое государственное развитие, выступление на сцену Руси, как политической личности, и выступление личностей в народе; русская мысль приучается высказываться, является литература, заявляется разномыслие, тревожат вопросы, народная поэзия вырастает из песен Кирши Данилова² в Пушкина... Наконец, самое сознание разрыва идет из той же возбужденности мысли; близость с Европой ободряет, развивает веру в нашу национальность, веру в то, что народ отставший, за которого мы отбываем теперь историческую тягу и которого миновали и наша скорбь и наше выработанное благо, что он не только выступит из своего древнего быта, но встретится с нами, перешагнувши петровский период. История этого народа в будущем; он доказал свою способность тем меньшинством, которое истинно пошло по указаниям Петра — он нами это доказал!..

«Письма из Франции и Италии». 1847 г.

¹ Герцен имеет в виду славянофилов.

² Кирша Данилов — собиратель русских былин и народных песен. Сборник Кирши Данилова вышел первый раз в 1804 году.

Историки делаются, поэты рождаются,— говорит латинская сентенция. Наши правительствующие немцы имеют ту выгоду против историков и поэтов, что они и *делаются*, и *рождаются*. Родятся они от обруселых немцев, делаются из онемечившихся русских. Плодородие это, спору нет, дело хорошее, но чтоб они не очень гордились этим богатством путей рождения, мы им напомним, что только низшие животные разводятся на два, на три манера, а высшие имеют одну методику, зато хорошую.

Из всех правительственных немцев, само собою разумеется, русские немцы самые худшие. Немецкий немец в правительстве бывает наивен, бывает глуп, снисходит иногда к варварам, которых он должен очеловечить. Русский немец ограниченно умен и смотрит с отвращением стыдящегося родственника на народ. И тот и другой чувствуют свое бесконечное превосходство над ним, и тот и другой глубоко презирают все русское, уверены, что с нашим братом ничего без палки не сделаешь.

«Русские немцы и немецкие русские». 1859 г.

Народность, как знамя, как боевой крик, только тогда окружается ореолом, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства со всеми их преувеличениями исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам; в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят; они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию¹.

«Былое и думы». Гл. XXX.

¹ К. Меттерних — австрийский министр иностранных дел, руководитель феодальной реакции, восторжествовавшей в Европе после ликвидации наполеоновской империи. Меттерних был противником независимости Италии и жестоко подавлял итальянское национальное движение.

В 1789 случился вот какой случай: один неважный молодой человек, отужинав с друзьями в Петербурге, поехал в почтовой кибитке в Москву. Первую станцию он проспал, на второй, в Софии, он долго хлопотал о лошадях и, должно быть, оттого разгулялся так, что, когда свежая тройка понесла его, звеня колокольчиком, он, вместо сна, стал слушать песню ямщика на свежем утреннем воздухе; странные мысли пришли в голову неважного человека. Вот его слова:

„Извозчик мой затянул песню по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого.— *На сем музыкальном расположении народного уха, умеи учреждать бразды правления.* В них найдешь образование души нашего народа. *Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива.* Если хочет разогнать скуку, или как то он сам называет, если хочет повеселиться, то идет в кабак... *Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской*“¹.

Ямщик все плачет свою песню; путник все думает свою думу, и, не доехав до Чудова, он вдруг вспомнил, как он в Петербурге когда-то ударил своего Петрушку за то, что он был пьян, да и заплакал, как ребенок и, не краснея за дворянскую честь, имел бесстыдство написать: „О есть ли бы он тогда, хотя пьяной опомнился, и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!..“

Императрица Екатерина поняла, в чем дело, и изволила „с жаром и чувствительностью“ сказать Храповицкому²: „*Радищев — бунтовщик хуже Пугачева!*“

Удивляться, что она его отослала в цепях в Илимский острог — нелепость. Гораздо удивительнее то, что Павел воротил его; но он это сделал назло покойной матери, — другой цели у него не было.

¹ Эта и следующие цитаты заимствованы из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

² Храповицкий — сенатор и статс-секретарь при Екатерине II.

С тех пор время от времени являются какие-то потерянные, безгромные зарницы; являются люди, воплотившие в себя историческое угрызение совести, бессильные искупители, неповинные страдальцы за грехи отцов. Многие из них готовы были все отдать, всем пожертвовать, но не было алтаря, некому было принять их жертву. Одни стучались во дворец, на коленях умоляли опомниться; их речь будто потрясла венценосцев, но из этого ничего не вышло; другие стучались в избу, но не могли ничего сказать мужику, — так разошлись их языки. Крестьянин смотрел сурово и недоверчиво на этих „дары несущих данаев“, и с горестью отходили от него раскаивающиеся, сознавая, что у них нет родины.

Сироты мысли, сироты любви, иностранцы дома, разобщенные между собой, эти пять-шесть лучших людей в России гибли в праздности, окруженные безучастием, ненавистью, непониманием. Новиков¹ сидел в крепости, Радищев — в Илимске.

«Император Александр I и В. Н. Каразин».
1862 г.

После победы над Пугачевым Зимний дворец снова позабыл о народе. И я не знаю, когда о нем вспомнили бы, если бы он сам не заявил своим господам о своем существовании, поднявшись в 1812 г. как один человек. Отвергнув, с одной стороны, освобождение от крепостного права, предложенное ему на кончиках чужеземных штыков, он, с другой — отправился умирать, чтобы спасти отечество, не давшее ему ничего, кроме рабства, унижения, нищеты и забвения со стороны Зимнего дворца.

Предисловие к «Запискам императрицы Екатерины II». 1858 г.

¹ Н. И. Новиков — общественный деятель и журналист эпохи Екатерины II, один из крупнейших представителей русского просвещения XVIII в., поплатившийся за свою деятельность заключением в Шлиссельбургскую крепость.

В последний раз политические интересы взволновали русский народ в 1812 г. Народ этот убежден, что у себя дома он непобедим; эта мысль лежит в глубине сознания каждого крестьянина, это — его политическая религия. Когда он увидел иностранца на своей земле в качестве неприятеля, он бросил плуг и схватился за ружье.

«Россия». 1849 г.

В 1812 году неприятель прошел Мемель, перешел через Литву и очутился под Смоленском, этим „ключом“ России. Пораженный ужасом, Александр примчался в Москву просить помощи у дворянства и купечества. Он их пригласил в оставленный Кремлевский дворец, чтобы обсудить, как помочь отечеству. Со времени Петра I русские государи не говорили народу: должно быть, велика была опасность, если император Александр во дворце, а митрополит Платон в соборе, заговорили об угрожавшей России опасности.

Дворянство и купцы протянули руку помощи правительству и выручили его из затруднения. Народ, забытый даже в это время всеобщего несчастья или же слишком презираемый, чтобы просили у него крови, которую считали в праве проливать без его согласия, — народ поднялся массами, не дожидаясь призыва в своем деле.

В первый раз со времени восшествия Петра I произошло это безмолвное единение всех классов. Крестьяне безропотно вступали в ряды ополчения; дворяне давали одного из десяти крепостных и сами брались за оружие; купцы жертвовали десятой частью своих доходов. Народное волнение разлилось по всей империи; шесть месяцев после очищения Москвы появились на азиатской границе шайки вооруженных людей, прибывавших из глубины Сибири на защиту столицы. Известие о занятии Москвы и о пожаре ее потрясли всю Россию, ибо для народа Москва все время оставалась истинной столицей. Москва только что искупила своей жертвой усыпавший строй царей; она поднималась, окруженная лучами славы, — сила неприятеля сломилась в ее стенах; победитель с Кремля начал свое отступление.

ние, которое должно было остановиться только на св. Елене.

«О развитии революционных идей в России». 1851 г.

Война 1812 г. сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 г. не имел старообрядчески-славянского характера¹. Мы его видим в Карамзине и Пушкине... Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора.

«Былое и думы». Гл. XXX.

Москва, повидимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией² и сплавилась с нею огнем 1812...

Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Дорогомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

«Но не пошла Москва моя»,

как говорит Пушкин.

«Былое и думы», гл. VI.

Бонапарту благоугодно было явить себя миру стоящим на груде трупов. К славе пирамид он захотел присоеди-

¹ Говоря о «старообрядчески-славянском» патриотизме, Герцен имеет в виду славянофилов, проповедывавших возврат к допетровской старине.

² В 1612 г. народное ополчение изгнало из Москвы польских интервентов.

нить славу Москвы и Кремля. На этот раз он не имел успеха; он поднял против себя целый народ, который решительно схватился за оружие, перешел за ним следом через Европу и взял Париж.

«Россия». 1849 г.

Сказание о декабристах становится больше и больше торжественным прологом, от которого все мы считаем нашу жизнь, нашу героическую генеалогию. Что за титаны, что за гиганты и что за поэтические, что за сочувственные личности! Их нельзя было ничем ни умалить, ни исказить: ни виселицей, ни каторгой, ни блудовским „Донесением“¹, ни корфовским поминанием...²

Да, это были люди!

Когда, через тридцать лет, несколько старцев, переживших Николая, возвратились, согбенные и опираясь на клюку, из своей томной, долгой ссылки, николаевское поколение забытых, желчных, разочарованных смотрело с смущением на эту юность, сохранившую в казематах, рудниках и Сибири прежний жар сердца, молодое упование, несокрушимую волю, непреклонные убеждения — на эту юность, осененную серебряными волосами, в которых виднелись следы тернового венка, лежавшего больше четверти столетия на их головах. Не они искали у остывшего очага своего опоры, успокоения, нет, — они утешали слабых, они подавали руку больным детям, ободряя их, поддерживая их силы и их надежды.

«Император Александр I и В. Н. Каразин».
1862 г.

Судьбы русской империи свершились в день триумфального въезда Александра I в Париж, в сопровождении це-

¹ Имеется в виду донесение Верховной следственной комиссии по делу декабристов, составленное ее секретарем Д. Н. Блудовым.

² Барон М. А. Корф по поручению правительства написал книгу о восшествии на престол Николая I, в которой оклеветал декабристов, обвинив их в честолюбии и непонимании русского народа.

лого отряда монархов, среди которых были австрийский император и прусский король.

*Nec plus ultra*¹.

С этого дня империя для империи кончилась, надо было искать новых оснований для ее поддержки, других элементов для ее развития, и они понемногу стали появляться.

Сейчас же после победы, около трона стала чувствоваться тягостная, жуткая пустота...

Военная молодежь становилась задумчивой и сосредоточенной среди лавров и оваций. Было что-то болезненное в этом контрасте родины, победоносной ввне и раздавленной внутри. Естественно напрашивалось сравнение России с Францией и другими странами. В два года войны образование молодых офицеров сделало огромный шаг вперед; они стали на голову выше и вернулись более серьезными, чем их старики-отцы, легкомысленные и низкопоклонные придворные, которые не понимали их и смотрели на них с удивлением. Дело в том, что они стали не только более серьезными, но и более впечатлительными, более вспыльчивыми и менее терпеливыми, далекие от духа пассивной покорности и вечного обожания власти, которым так отличалось русское дворянство.

Они не забыли своей родины, не предпочли ей другие страны; наоборот, именно они-то и любили Россию, „но странную любовь“², как говорит поэт. На полях битвы они научились видеть в солдате человека; они стеснялись употреблять палочные удары, стыдились иметь рабов и трепетали от негодования, что сами не могут противопоставить могуществу власти никакого человеческого права.

Тот самый толчок, который разбудил и развил офицеров, подействовал удручающим образом на императора...

Видя, что все сделанное им не пускает корней, что единственная удавшаяся ему вещь была война, Александр затаил глубокую злобу — не против жадной, испорченной бюро-

¹ Дальше этого некуда идти.

² Из стихотворения Лермонтова «Родина».

кратии, не против невежественного, алчного и могущественного дворянства, парализовавших все его начинания, а против народа, *великого неизвестного* немого, несчастного, инертного, бездейственного...

Молодежь роптала и была в отчаянии. Люди серьезные стали размышлять не только о печальном положении страны, но о необходимости найти средства для выхода из него.

Раз вечером, это было в 1816 г., четыре офицера собрались в комнате у Муравьевых-Апостолов. Говорили о трудном положении, в котором все очутились, и о жалком состоянии страны. Подошли еще двое Муравьевых. Один из последних предложил соединиться против немецкой партии. Якушкин отказался участвовать, объявив, что он готов вступить в такое общество, целью которого было бы не отсечение нескольких немцев, но общее улучшение судеб России. Муравьевы-Апостолы держались его мнения. Тогда Муравьевы признались, что лига против немцев была только пробой и что они хотели бы предложить совсем другое общество. Они сейчас же сговорились относительно его оснований.

Вот отправная точка... великой борьбы, подпольной работы в течение тридцати лет после 1825 г. и пробуждения, последовавшего после смерти Николая.

Эти *шесть имен* принадлежат истории. Вот они: *Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Александр и Никита Муравьевы, князь Сергей Трубецкой и Якушкин.*

«Заговорщик 1825 г. (Иван Якушкин)». 1868 г.

Мысль растет, смех Пушкина заменяется смехом Гоголя. Скептическая потерянности Лермонтова составляет лиризм этой эпохи.

Печальны, но изящны были люди, вышедшие тогда на сцену; с сознанием правоты и бессилия, с сознанием разрыва с народом и обществом, без верной почвы под ногами, чуждые всему окружающему, не знавшие будущего, они

не сложили рук, они проповедывали целую жизнь, как Грановский, как Белинский, — оба сошедшие в могилу, рано изношенные в суровой и безотрадной борьбе.

«Русские немцы и немецкие русские». 1859 г.

Когда общество пришло в себя, после всеобщего уныния, вызванного террором первых годов царствования Николая, один страшный вопрос стал все более и более выступать на первый план среди иноземных предрассудков, привитых нам, среди навязанных готовых мнений и усвоенных традиций. Этот фатальный вопрос предстал перед мыслящим человеком и прозвучал еще раз, подобно гласу бога в Библии: „Каин, что ты сделал с братом твоим?“

С тревогой стали замечать отсутствие народа. Увидели, что все здание русской цивилизации как бы висит в воздухе и поддерживается посредством веревки, конец которой находится в руках правительства. Но какова же была причина этого равнодушия народа, этой апатии в несчастиях и страданиях? История русского народа представляет в самом деле очень странное зрелище. В течение более чем тысячелетнего своего существования русский народ только и делал, что занимал, распахивал огромную территорию и ревниво оберегал ее, как достояние своего племени. Лишь только какая-нибудь опасность угрожает его владениям, он поднимается и идет на смерть, чтобы защитить их; но стоит ему успокоиться относительно целостности своей земли, он снова впадает в свое пассивное равнодушие, — равнодушие, которым так превосходно умеют пользоваться правительство и высшие классы.

Недоумение вызывает в особенности то обстоятельство, что народ этот не только не лишен мужества, силы, ума, но, напротив, наделен всеми этими качествами в изобилии. Действительно, русский крестьянин более развит, чем земледельческий класс почти во всей Европе; только Швеция, Швейцария и Италия составляют некоторое исключение.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

Сегодня утром граф Орлов бросил последнюю горсть земли в могилу Николая, торжественно засвидетельствовал его смерть и с тем вместе начало новой эпохи для России¹.

Война вам стоила дорого, мир не принес славы, но кровь севастопольских воинов лилась не напрасно, если вы воспользуетесь ее грозным уроком. Дороги, усеянные трупами, солдаты, изнуренные прежде встречи с неприятелем, недостаток путей сообщения, беспорядок интендантства ясно показали несовместность мертвящего самодержавия не только с развитием, с народным благосостоянием, но даже с силой, с внешним порядком, с тем механическим благоустройством, которое составляет идеал деспотизма. К чему послужило угнетение мысли, преследование слова, вечные парады и ученья, к чему послужил полицейский надзор над всем государством с своими сотнями тысяч входящих и исходящих бумаг?..

Тот же год, который был так беспощаден для царя, показал нам снова неисчерпанную, здоровую мощь русского народа. Как все это странно и полно глубокого значения! Русь оживала в то время, как он отходил, и отходил оттого, что *не имел веры в свой народ*. Он знал Альму и Евпаторию², но крымской Сарагоссы³, но богатырской защиты Севастополя не предвидел.

Воздух 1612 и 1812 годов повеял в России при вести о

¹ Поводом для статьи, из которой заимствован настоящий отрывок, послужило подписание 30 (18) марта 1855 г. в Париже мирного договора, которым закончилась неудачная для России Крымская война. Царскому правительству пришлось согласиться на невыгодные для России условия мира. А. Ф. Орлов возглавлял русскую делегацию на Парижском конгрессе.

² На реке Альме и под Евпаторией русские войска понесли поражения во время Крымской войны.

³ Сарагосса — город в Испании, прославившийся продолжительной и героической защитой в 1808—1809 гг. во время осады ее войсками Наполеона I.

неприятельском нашествии, и ни один человек не поверил турецко-крестовому походу за „просвещение и свободу“.

«Вперед! Вперед!» 30 марта 1856 г.

Народ не раз восставал, более ста тысяч людей стояло на Волге со Стенькой Разиным. Царь Алексей Михайлович перевешал тысячи мятежников. Престол Екатерины II был несколько месяцев сряду потрясаяем Пугачевым. Привезенный в Москву в клетке, Пугачев был казнен, порядок восторжествовал, крепостной народ был побежден...

Луч вольности промелькнул пред глазами несчастного крепостного и исчез. Смутные слухи шопотом разносились по народу и остались у него в памяти. Местные восстания, убийства помещиков, которые так часто случаются на Руси, умножились. В Симбирской губернии крестьяне устроили было *облаву* на помещиков. В Тамбовской собрались люди *разных* волостей и пошли вооруженные кольями и топорами, неся с собой солому, от одного господского дома к другому: перед ними шла крестьянка, босая, простоволосая, и пела похоронные молитвы и псалмы, — она пела, а дома горели и в них помещичьи семьи.

Я много жил с нашими крестьянами и не только глубоко люблю их, но и знаю довольно хорошо. Ребенком я проводил каждое лето в поместьях отца моего; в ссылке я имел целых семь лет, чтобы изучить крестьянина от Урала и Волги до Новгорода, и клятвенно уверяю вас, граждане, что в крестьянах внутренних губерний меньше низости, меньше раболепства, чем в петербургском вельможестве, в царедворцах и чиновниках...

Воля России начнется с восстания крепостных или с их освобождения.

«Народный сход в память февральской революции». Речь, произнесенная 27 февраля 1855 г. на митинге, организованном международной политической эмиграцией в Лондоне.

...Я покинул Россию в середине холодной, снежной зимы маленькою, проселочною дорогою, которая редко посещается и служит только для соединения Псковской губернии с Лифляндией. Эти две соседние области, имеющие мало сношений между собою, удаленные от всякого внешнего влияния, представляют контраст, который нигде больше не встречается с такой степенью обнаженности, с такою, — скажем даже, — преувеличенностью.

Это — распахиwanie целины рядом с похоронами, это — канун, соприкасающийся с завтрашним днем, это — тяжкое прорастание и трудная агония. С одной стороны, все пахнет известью, ничто не dokonчено, ничто еще не обитаемо, везде лесные материалы, голые стены; с другой — все отдает плесенью, все обращается в развалины, все становится нежилым, везде щели, обломки, мусор.

Среди еловых лесов, посыпанных снегом, на обширных равнинах появлялись русские деревушки; они быстро и резко выделялись на фоне ослепительной белизны. Вид этих бедных сельских общин имеет нечто глубоко трогательное для меня. Домики жмутся один к другому, предпочитая вместе сгореть, чем разбрасываться. Поля без изгородей и заборов теряются в беспредельной дали позади домов. Избушка — для человека, для семьи; земля — для всех, для общины.

Крестьянин, живущий в этих домишках, остался в том же положении, в каком застали его кочующие полчища Чингизхана. События последних веков прошли над его головою, даже не разбудив его беззаботной мысли. Это — существование, промежуточное между геологией и историей, это — формация, у которой есть собственный характер, образ существования, физиология, но нет биографии. По прошествии двух-трех поколений крестьянин вновь строит свой домишко из елового лесу, который мало-помалу разрушается, не оставляя по себе следов, более чем сам крестьянин.

Поговорите, однако, с ним, и вы сейчас увидите, закат ли это жизни, или детство, варварство после смерти или варварство перед жизнью. Но только говорите с ним его

языком, успокойте его, покажите ему, что вы не враг его. Я далек от того, чтобы порицать русского крестьянина за боязнь, которую он проявляет к культурному человеку. Культурный человек, которого он видит, — или его помещик, или чиновник. И крестьянин остерегается его, смотрит на него мрачным взглядом, отвешивает ему глубокие поклоны и удаляется, — он его не уважает. Он боится в нем не высшей натуры, а непреодолимой силы. Он побежден, но он вовсе не лакей. Его жесткий язык, демократический и патриархальный, не получил образования передних. Его черты, мужественной красоты, устояли перед двойным закрепощением — царя и помещика. У крестьянина Великой и Малой России очень пронизательный ум и такая, почти южная, живость, что удивляешься, находя ее на севере. Он говорит хорошо и много; привычка быть всегда с соседями сделала его общительным.

«О развитии революционных идей в России». 1851 г.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертного томления и мучительного возрождения, среди этого мира, распадающегося в прах вокруг колыбели, взоры невольно обращаются к востоку.

Там, как темная гора, вырезающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, что оно идет, как лавина, на Европу, и, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть.

Это царство, совершенно не известное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав, и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия.

Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.

Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора, — Кенигсберг и Берлин сде-

лались добычею северного врага. Наполеон проник с полу-миллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкой в первых попавшихся пошевнях. Европа с удивлением смотрела на бегство Наполеона, на несущиеся за ним в погону тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню их национальной независимости.

«Русский народ и социализм». 1851 г.

В России мы страдаем только от детской неразвитости и материальной нужды, но нам принадлежит будущее. Славянский мир еще не существовал во всей полноте своих сил; теперь он инстинктивно приготовил себе огромную арену действия — Россию... Мы.. только ждем, когда выступить.

Письмо к Моисею Гессу. 3 марта 1850 г.

Он¹ привез „Мертвые души“ Гоголя,— удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование *ins Blaue*², а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и песнями они едут на лодке, крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья;

¹ Н. П. Огарев, приехавший навестить своего друга в Новгород, где в то время Герцен находился в ссылке.

² На небеса.

и потом в бурю — какая дерзость, смелость, — летит себе, а что будет, то будет. Взглянул бы на тебя, дитя, — юношею, но мне не дожидаться, благословляю же тебя, хоть из могилы.

Дневник. Запись 11 июня 1842 г.

Перед лицом Европы, силы которой за долгую ее жизнь истощились в борьбе, становится народ, который только что начал жить...

Он гордится своей силой, тогда как другие народы чувствуют себя усталыми и престарелыми. Его прошлое скудно, настоящее — чудовищно; правда, это не устанавливает еще никаких прав.

Много народов сошло с исторической сцены, не прожив полной жизнью, но у них не было таких колоссальных претензий на будущее, как у России. Вы знаете, к истории нельзя применить поговорку: „опоздавшим — одни лишь кости“, наоборот, им остаются лучшие плоды, если они способны питаться ими. И здесь-то очень большой вопрос.

Сила русского народа признается всей Европой уже тем страхом, который внушает Россия! В петербургский период русский народ уже показал, на что он способен; он уже много сделал, и это, несмотря на цепи, в которые были закованы его руки.

«Россия». 1849 г.

Милостивый государь! Письмо ваше от 22 июня я получил и спешу искренно поблагодарить вас за него. Мне так редко удается слышать симпатическое слово по-русски, хотя я и не сомневаюсь в некотором сочувствии к моим трудам. Не сомневаюсь я потому, что источник их — одна любовь к России, к народу *будущего*. Я никогда не чувствовал яснее, насколько я русский, как в последние годы.

Письмо к А. А. Чужикову. 27 июля 1851 г.

Позвольте мне теперь объяснить мое выражение „народ будущего“... Кент говорит прогнанному Лиру: „в тебе есть что-то, заставляющее меня называть тебя царем“. Я вижу это помазание на нашем челе... Но *будущего нет*: оно делается людьми, и если мы будем продолжать гнить в нашем захолустьи, может из России в самом деле выйдет avortement¹. Тут-то и является наше дело, наше призвание. Что можем мы делать? Всякое слово человека преданного есть дело; я, по необходимости оставшийся на западном берегу, я только и желаю быть вашей бесцензурной речью; я, между прочим, для того и не старался о возвращении, чтоб познакомить Европу с Россией и быть свободным ее органом.

Письмо к нему же. 9 августа 1851 г.

Я середь мрачного, раздирающего душу реквиема, середь темной ночи, которая падает на усталый, больной Запад, отворачиваюсь от предсмертного стона великого бойца, которого уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованием смотрю на наш родной Восток, внутри радуюсь, что я русский...

Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота...

Неужели в самом деле, выступив одной ногой на торную дорогу, мы опять увязнем в болоте, дав миру зрелище огромных сил и совершенной неспособности их употреблять? Что-то перечит сердцу принять это!..

Я верю в способность русского народа, я вижу по озимым всходам, какой может быть урожай, я вижу в бедных подавленных проявлениях его жизни несознанное им средство к тому общественному идеалу, до которого сознательно достигла европейская мысль...

Не станем спорить о путях; цель у нас одна, будемте же делать все усилия, каждый по своим мышцам, на своем месте, чтоб уничтожить все заборы, мешающие у нас свобод-

¹ Недоношенность.

ному развитию народных сил и поддерживающие негодный порядок вещей, будемте равно будить сознание народа и самого правительства. А потому и заключаю мое длинное письмо к тебе словами: „На работу, на труд, на труд в пользу русского народа, который довольно в свою очередь поработал на нас!“

«Еще вариация на старую тему». 1857 г.

Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину.

Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели.

Веровать теперь в развитие России не удивительно: Николай в Петропавловской крепости, да и там под спудом, а его преемник *освобождает крестьян*. Я верил в самый темный час холодной и неприветной ночи, стоя середь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас. Внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло, и я снова повторял гетевский стих, который мы так часто повторяли юношами: „Nein, es sind keine leere Träume!“¹

За эту веру в нее, за это исцеление ею благодарю я мою родину. Увидимся ли, нет ли, но чувство любви к ней проводит меня до могилы.

Предисловие к «Письмам из Франции и Италии». 1858 г.

О СЛУЖЕНИИ НАРОДУ

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна² беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся

¹ Нет, это не пустые мечты.

² Няня Герцена.

генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было, действительно, самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь; дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

«Былое и думы». Глава I.

Жизнь моя сложилась рано, и я долго оставался молод. Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый фонд¹, они освещены вечерней зарей другого торжественного дня, полного кажда и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрасимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... Я помню появление первых песен „Онегина“ и первых сцен „Горе от ума“... Я помню, как, перерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева, и звал на бой и гибель, как зовут на пир...

И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...

В стране мятежей и снегов,
На берегах широкой Лены...

Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отмстить их гибель.

Время светлых лиц и надежд, светлого смеха и светлых слез кончилось. Порядком понял я это после, но впечатления того времени, переплетаясь с мифическими рассказами 1812 года, составили в моей памяти то золотое поле иконописи, на котором еще чернее выходят лики святых.

«Письма к будущему другу». 1864 г.

¹ Фон, глубина, основание.

Победу Николая над пятью¹ торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась: около нее — сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отмстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим трон², с этим алтарем, с этими пушками. Я не отмстил: гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось, но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу...

Только эта давность и дает мне тень права, именем великих мучеников нынешнего дня, звать вас на участие.

«К нашим». 1855 г.

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас; он его пригласил, и с Зонненбергом²...

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку... Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах³.

¹ Герцен имеет в виду казнь пяти декабристов в 1826 г.

² К. И. Зонненберг — губернёр друга Герцена Н. П. Огарева. Позже жил при отце Герцена, выполняя разные его поручения.

³ А. А. Витберг — архитектор, строивший по поручению правительства на Воробьевых горах под Москвою храм в память войны 1812 г. и разгрома наполеоновской армии. Несправедливо обвиненный по ложным доносам в злоупотреблениях по службе и легкомысленном расходовании денег, Витберг в 1835 г. был сослан в Вятку, где познакомился и подружился с Герценом.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

«Былое и думы». Гл. IV.

Наша разлука продолжится еще долго, — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, на Воробьевых горах.

Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то обещающий, не позволяют мне переступить границу России... Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная без-успешными усилиями и возбужденным противодействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!

Пожалуйста, не ошибитесь: не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых, — отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы... Я ни во что не верю здесь, кроме как в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни его вершинное образование, ни его учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит, — я остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от

его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

Зачем же я остаюсь здесь?

Остаюсь затем, что борьба *здесь*, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*: борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достоинства, а, может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, „гонимых, но не низлагаемых“.

За эту речь я переломил, или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзвучий на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... Вы знаете меня.. и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решил не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву

Человеческому достоинству,
Свободной речи...

Я присутствовал при двух переворотах; я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на

сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем! на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом! Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.

Свобода лица — величайшее дело; на ней — *и только на ней*, — может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближних, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность; эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Если вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны.

«С того берега». 1849 г.

Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить, сложа руки, можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме *нашего* дела.

Кто больше двадцати лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь — бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель...

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны,

ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу das vornehme Ignoriren¹ России с тех пор, как она испытала мещанскую республику и алжирских казаков², с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевероты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой природы под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся,—надобно им знать, чего они боятся.

До сих пор мы были непростительно скромны п, со-знавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе. Не стыдно ли?

Успею ли я что сделать?.. Не знаю,—надеюсь!

Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там,—кто знает, чего мы не видали в последнее время! Быть может,

¹ Надменное игнорирование.

² Герцен имеет в виду кровавую расправу, учиненную при помощи алжирских войск в июне 1848 г. над парижскими рабочими французским буржуазным правительством.

и не так далек, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: „За Русь и святую волю!“

Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти дома, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! Ну, а если? Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!

«С того берега». 1849 г.

Пора нам стереть с себя позорное обвинение в страдательной выносимости — мы выносили от незрелости, от молодости, — мы выносили от того, что ничего не было готового. Я думаю, что это время проходит, и потому считаю необходимым, чтобы где-нибудь раздалось свободное русское слово: как бы слабо оно ни было на первый случай — оно получает особое значение, и вы увидите: мой опыт найдет последователей. Для всего мира наступает новая эпоха; — в ней Русь призвана играть новую роль: не быть чужой — как до Петра, ученицей — как после него, врагом — как теперь. Старые государства Европы начинают чувствовать, что для них настает дряхлость, что у них нет ни достаточно сил, ни достаточно энергии, чтоб стать на высоту новой общественной жизни; они берегут приобретенное и хотят обмануть смерть; они слабеют, не умея сладить ни с свободой, ни с рабством, ни с республикой, ни с монархией: они теряются, сокрушенные внутренней борьбой...

И чем ближе подступает роковое будущее, чем неотразимее оно — тем болезненнее поднимается грудь старых народов, трепещущих за нажитое благо, за свою цивилизацию, тем чаще и чаще обращают взгляды на эту зага-

дочную страну, называемую Россией. Но для кого мы будем печатать по-русски? Я знаю, что не только книгу в России запретят, но что учредят особый пограничный кордон *ad hoc*¹ и новое ведомство предупреждения и пресечения ввоза мятежной книги — и все-таки печатаю ее для *Русских в России*. Мы посмотрим, кто сильнее — власть или мысль. Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию, или правительству не пропустить ее. Да здравствует свобода книгопечатания!

«Вместо предисловия или объяснения к сборнику». 1849 г.

Мы хотели быть протестом России, ее криком освобождения и криком боли, мы хотели быть обличителями злодеев, останавливающих успех, грабящих народ, мы их тащили на лобное место, мы их делали смешными, мы хотели быть не только мезтью русского человека, но его иронией...

«Обвинительный акт». 1858 г.

Мы получили за прошлый месяц ворох писем; сердце обливается кровью и кипит бессильным негодованием, читая, что у нас делается *под спудом*.

Прежде, нежели мы начнем страшный перечень злодеяний, мы еще раз умоляем всех особ, пишущих к нам, проникнуться ради нашего дела, ради смысла и значения, которое мы хотим ему приобрести, что всякий факт неверный, взятый по слухам, искаженный, может сделать нам ужасный вред, лишая нас доверия и позволяя преступникам прятаться за ошибочно обвиненных.

Одна горячая любовь к России, одно глубокое убеждение, что наш обличительный голос полезен, заставляет нас касаться страшных ран нашего жалкого общественного быта и их гноя. Мы — крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиками, да будет же этот крик исторгнут одной истинной болью!

«Под спудом». 1857 г.

¹ Для этого.

Указом 29 января запрещены в Саксонии „Колокол“, „Полярная Звезда“ и „Голоса из России“. В Пруссии давно уже учрежден цензурный кордон против нас. Говорят, что сам принц Липпе-Вальдек-Зондерсгаузен и Мейнинген хочет взять меры деятельные и энергические: если это правда, мы пропали!

Все это делается внешними и внутренними немцами, сговорившимися с дворовыми генералами, крепостными министрами и вообще с людьми, на которых *шапка горит*.

Ни печати, ни сбыта русских книг они не остановят этими мерами, которые нам же служат даровыми рекламными и придают нашим изданиям международную важность.

Объяснимся раз навсегда. Дело русской пропаганды для нас не каприз, не развлечение, не кусок хлеба, а дело нашей жизни, наша религия, кусок нашего сердца, наша служба русскому народу.

Мы работали, не унывая, тогда, когда не было никакого успеха. Неужели теперь, когда русское министерство иностранных дел и немецкие министры дел отечественных признают нашу силу, наше влияние, мы остановимся?

Будьте уверены, что нет. С рукою на сердце присягаем мы перед лицом России — продолжать работу нашу до последнего биения пульса. Она даже не прервется с нашей смертью. Мы не одни и, умирая, завещаем наш станок грядущему, юному поколению, которое приметя за него с новыми силами, со свежими идеями.

Нас остановить можно только *уничтожением* цензуры в России, а вовсе не введением русской цензуры в немецких краях.

«Лакеи и немцы не допускают». 1857 г.

Мы — чужие в этом мире¹, мы, собственно, живем не здесь, а дома. Было время, когда мы думали, что наше призвание состояло, между прочим, и в том, чтоб *свидетельствовать* перед Западом о возникающем русском мире.

¹ Герцен имеет в виду Западную Европу.

Это время прошло. С каждым годом, с каждым событием мы становимся дальше и дальше от среды, в которой жить осуждены нашей деятельностью. Мы этого не скрываем. Мы остаемся вне России только потому, что там свободное слово невозможно, а мы веруем в необходимость его высказывать. Заграничная жизнь для нас вовсе не *partie de plaisir*¹, а *жертва*, огромная жертва, которую мы приносим нашему делу.

«*Ultimatum*». 1862 г.

Десять лет тому назад, в конце февраля, было разослано объявление об открытии в Лондоне Вольной Русской типографии. В мае месяце вышел первый отпечатанный в ней лист, и с тех пор станок русский работал, не останавливаясь.

Тяжелое время было тогда: Россия словно вымерла; целые месяцы проходили, и не было в журналах ни слова об ней; изредка появлялась весть о смерти какого-нибудь дряхлого сановника, о благополучном разрешении от бремени какой-нибудь великой княгини... Еще реже доходил до Лондона сдавленный стон, от которого сердце сжималось и ломилась грудь; частных писем почти вовсе не было, страх приостановил все связи...

В Европе было иначе, но не лучше. Наступало пятилетие после 1848 года — и ни малейшей полоски света, темная, холодная ночь облегала со всех сторон...

С средой, в которую я был заброшен, я становился все далее.

Невольная сила влекла меня домой. Были минуты, в которые я раскаивался, что отрезал себе пути возвращения, — *возвращения* в эту Сибирь, в этот острог, перед которым шагал двадцать восьмой год, в своих ботфортах, свирепый часовой со „свинцовыми пулями“, вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед! Как омуты и глубокие воды тянут

¹ Увеселительная прогулка.

человека темной ночью в неизвестную глубину, тянуло меня в Россию.

Нет, казалось мне, столько сил не могут быть задавлены так глупо, иссякнуть так нелепо... И мне представлялись живее и живее народ, печально сторонящийся и чуждый всему, что делается, и гордая кучка, полная доблести и отваги, декабристов, и восторженно юношеский круг наш, и московская жизнь после ссылки. Передо мной носились знакомые образы и виды, луга, леса, черные избы на белом снегу, черты лиц, звуки песен, и... и я верил в близкую будущность России, верил, когда все сомневались, когда не было никакого оправдания вере.

Может, я верил оттого, что не был сам тогда в России и не испытывал на себе оскорбительного прикосновения кнута и Николая, может, и от другого, но я крепко держался за мое верование, чувствуя, что, когда я и его выпущу из рук, у меня ничего не останется.

Русским станком я возвращался домой: около него должна была образоваться русская атмосфера... Могло ли быть, чтоб никто не откликнулся на это первое „Vivos voco!“¹

Но „жив человек“ га самом деле не торопился отвечать...

Три года мы печатали, не только не продав ни одного экземпляра, но не имея возможности почти ни одного экземпляра послать в Россию; кроме первых летучих листов, отправленных Ворцелем² и его друзьями в Варшаву, все печатанное нами лежало у нас на руках или в книжных подвалах...

Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом „Письмо к императору Александру“ и решился издавать „Полярную Звезду“.

„Да здравствует разум!“ — невольно сорвалось с языка в начале программы; „Полярная Звезда“ скрылась за ту-

¹ Зову живых!

² Станислав Ворцель — польский эмигрант, живший в Лондоне и действительно помогавший Герцену в организации русской типографии.

чами николаевского царствования¹. Николай прошел, и „Полярная Звезда“ явится снова в день нашей великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями“².

Начало царствования Александра II было светлой половиной. Вся Россия легче вздохнула, приподняла голову...

Под влиянием весенней оттепели и на наш станок в Лондоне взглянули ласковее. Наконец-то нас заметили. „Полярная Звезда“ требовалась десятками экземпляров, а в России ее продавали по баснословным ценам — от 15 до 20 р. с. Знамя „Полярной Звезды“; требования, поставленные ею, совпадали с желанием всего народа русского, оттого они и нашли сочувствие. И когда, обращаясь к только что воцарившемуся государю, я повторял ему: „Дайте свободу русскому слову, уму нашему тесно в цензурных колодках, дайте волю и землю крестьянам и смойте с нас позорное пятно крепостного состояния, дайте нам открытый суд и уничтожьте канцелярскую тайну судебных наших“, и когда я прибавлял к этим простым требованиям: „Торопитесь притом, чтоб спасти народ от крови!“ — я чувствовал, я знал, что это вовсе не мое личное мнение, а мысль, которая тогда носилась в русском воздухе и волновала каждый ум, каждое сердце.

Предисловие к книге «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне. Сборник ее первых листов». 1863 г.

Разнесся слух о прекращении „Колокола“; вероятно, русская полиция облекла скромное желание свое в выдуманный факт. Сойти со сцены теперь значит окончательно усомниться в России. Такого торжества мы не дадим еще законным врагам свободного слова в России.

¹ «Полярной Звездой» назывались сборники, издававшиеся в Петербурге в 1823—1825 гг. А. А. Бестужевым (Марлинским) и К. Ф. Рылевым.

² Герцен имеет в виду казненных царским правительством декабристов.

„Колокол“ при нашей жизни только прекратится уничтожением всякой цензуры в России, и то, если это уничтожение будет не австрийское, не прусское, а действительное. До тех пор, кажется, еще много воды утечет.

А. Герцен
Н. Огарев

«Колокол» на 1865 год. 1864 г.

Мы испытываем отлив людей с 1863 г. так, как испытали его прилив от 1856 до 1862. Какой-нибудь одряхлевший мастурбатор искусства, науки, политики, который смотрит на мир, как старики на похабные картинки, словом, какой-нибудь Боткин¹, ругавший при Николае русскую типографию и сделавшийся моим почитателем во время успеха, ругает нас снова из патриотизма, — только смешон, особенно, когда вспомнишь, как он со слезами на глазенках восторгался, когда я принимал в Париже польскую депутацию.

Придет время, не „отцы“, так „дети“ оценят и тех трезвых и тех честных русских, которые одни протестовали и будут протестовать против гнусного умиротворения. Наше дело, может, кончено, но память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, останется. И твоя совесть тебе это скажет, и размяклый мозг Боткина еще осилит понять. Мы спасли честь имени русского и за это пострадали от рабского большинства.

Письмо к И. С. Тургеневу. 10 марта 1864 г.

Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, это — наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему... и желание деятельно участвовать в его судьбах.

Любовь наша — не только физиологическое чувство племенного родства, основанное исключительно на случайности месторождения; она, сверх того, тесно соединена с нашими

¹ В. П. Боткин — в молодости член кружка западников, друг Белинского и Герцена, впоследствии ярый реакционер.

стремлениями и идеалами, она оправдана верой, разумом, и потому она нам легка и совпадает с деятельностью всей жизни.

Для вас¹ русский народ преимущественно народ *православный*, т. е. наиболее христианский, наиболее близкий к *веси небесной*. Для нас русский народ преимущественно *социальный*, т. е. наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той *земной веси*, к которой стремятся все социальные учения.

«Письма к противнику». 1864 г.

Ввиду тяжелых событий последних двух лет, нам приходилось не один раз высказывать наши убеждения; мы считаем, вступая в новый год, излишним повторять наш символ веры и наш протест.

Мы продолжаем наш путь, а не вступаем в другой.

„Колокол“ остается, чем он был, — *органом социального развития в России*. Он будет, как прежде, против всего, что мешает этому развитию, и за все, что ему способствует.

Мешает ему военно-канцелярское управление, сословные права, господствующее духовенство, невежество образованных, сбивчивые понятия, идолопоклонство перед государством, которому жертвуют всем — благосостоянием лиц и масс, умом и сердцем. Все это вместе не сломит тех начал, глубоко заключенных в быте народном, на которых основано наше упование. Не сломили же их ни татары, ни немцы, ни Москва, ни Петербург, сколько ни задерживали развитие, сколько ни искажали его, марая народ ненужной кровью и незаслуженной грязью.

Против этих темных сил, опертых на неведение одних и на корысть других, мы будем бороться, как прежде, и еще больше, чем прежде, зовем на помощь.

Пора сосредоточить мысль и силы, уяснить цели и сосчитать средства.

«1865»

¹ Герцен имеет в виду Ю. Ф. Самарина и других славянофилов.

Необходимость еще раз возобновить серию изданий о России становилась все очевиднее, как одно внешнее событие положило конец всем колебаниям.

Я был далеко от Женевы, когда приближалось открытие Конгресса мира¹. Друзья приглашали меня, люди, которых я уважаю, очень хотели, чтобы я присутствовал, — все мои симпатии на стороне мира. Первое мое движение было — уложить чемодан и ехать, но, после минутного размышления, во мне зародилось совсем другое чувство.

Если бы я был в Женеве, это сомнение не пришло бы, на него не было бы времени; я действовал бы так же, как мои друзья, только не стал бы потом раскаиваться. Находясь случайно далеко оттуда, я мог продумать до конца, и, после тяжелой работы ума, решил *воздержаться*.

Идея конгресса была столь справедлива, что я, один из первых, поспешил подписаться под заявлением. Я от души желал конгрессу возможно полного успеха и искренно боялся материальной или моральной неудачи; меня беспокоило, что число членов окажется слишком недостаточным, что они заметят неопределенность идей у старых партий, которые часто ограничиваются самоотверженностью, не определяя хода вещей, и этими благородными симпатиями, которые хотели человечеству столько добра и позволили сделать столько зла.

Эти размышления должны были заставить меня ехать в Женеву.

Между тем, у меня явилось совсем иное беспокойство. Я видел такое увеличение враждебности по отношению к России в демократических газетах и в издаваемых ими брошюрах, что передо мной встал вопрос, который потряс меня.

Я спросил себя: нет ли в наших отношениях к западной демократии невольной, бессознательной лжи, — лжи добро-

¹ В 1867 г. в Женеве состоялся конгресс международной организации Лиги мира и свободы.

желательной, деликатной, щадящей, с одной стороны, и уважения и покорности — с другой, но, все-таки, *лжи*?

Может быть, *есть*.

После этого *может быть* я не в состоянии был ехать в Женеву или должен был ехать исключительно с целью выяснить неискренность наших отношений и искать способ изменить их или совсем порвать. Было ли бы это кстати? Разрешили ли бы мне говорить о предмете, который явно выходил из программы? Если меня приглашали, то не потому, что я русский, а, наоборот, в глубоком убеждении, что я меньше всего — русский; а на это я не мог, не хотел и не должен был соглашаться.

Если б я был похож на этого доброго, славного, милого русского старика Шамеровцева, который лет сорок отдал на освобождение негров и который ежегодно приезжает в качестве председателя общества, основанного в Лондоне во времена Уильберфорса¹ (он был его другом), чтобы сделать доклад и говорить, как филантроп вообще и негрофил в частности, то у меня не было бы никаких сомнений относительно поездки на женевский конгресс. Но я не так всечеловечен, у меня нет никакой экзотической специальности, я всеми фибрами своей души принадлежу русскому народу; я работаю для него, он работает во мне, и это — вовсе не историческая реминисценция, не слепой инстинкт и не кровная связь, а следствие того, что я, сквозь кору и туман, сквозь кровь и зарево пожаров, сквозь невежество народа и цивилизацию царя, вижу огромную силу, важный элемент, вступающий в историю рядом с социальной революцией, к которой старый мир пойдет волей неволей, если он не хочет погибнуть или окостенеть.

Можно ли было согласиться на положение личной, исключительной *терпимости*, с которой относилось к нам западное гостеприимство?

¹ Вильям Уильберфорс — английский политический деятель, посвятивший себя борьбе за освобождение негров от рабства в английских владениях.

Было время, когда русские, слишком подавленные, слишком несчастные, казались убитыми и смущенными перед лицом будущих гордых республиканцев Франции и перед глубокими вольнодумцами Германии. С тех пор расположение созвездий сильно изменилось. Если у нас не было ни сил, ни времени пересадить в наш суровый и жестокий климат хрупкие свободы западных учреждений, то военный деспотизм, самовластное управление, всесильная и бесконтрольная полиция, отсутствие личной безопасности — все это пустило такие корни в материк, что между нами установилось полное равенство, исключая разницы, которая существует между людьми, желающими выйти из ограды и только что вошедшими в нее...

Как же объяснить усиленное ожесточение, с которым в нас бросают камнем?

Я думал иногда, что ядовитые проклятия, которые обращены были исключительно по адресу русского деспотизма, служили особым приемом общей атаки чудовища; что, не дерзая нападать на хозяина дома, бросаются на соседа... Но надо помнить об этом. Публицисты, люди нашего века, представители мнений, мудрецы наших дней указывают возмущенно пальцем на наше ярмо, не замечая, что на руке у них цепь...

Часть вины, надо сознаться, лежит на нас. Мы не противились ходу вещей, мы не подымали вопроса о вопиющих ошибках, мы очень вяло защищались. Мы допустили, чтобы возросли заблуждения, которые извратили остаток ясных воззрений на этот предмет.

Необходимость новых изданий была очевидна.

«Личное дело». 1867 г.

Каяться мне не в чем, разве в ином неумеренном или жестком слове; совсем напротив, я зову к покаянью, я жду кающихся. Мы звоним к исповеди, к пробуждению совести. Словом примирения и брани, слезами и оскорблением бу-

дим мы вас... и *volens nolens*¹, с нами или без нас, вы проснетесь.

Какой грех против России лежит на моей душе?

С отрочества я отдал ей мою жизнь, для нее работал, как умел, всю молодость и двадцать лет на чужбине продолжал ту же работу. Я проповедывал Россию на Западе тогда, как о России, благодаря николаевской *форме*, никто не смел заикаться без брани. Скорбя об вашей общей апатии и беспомощности, я поставил первый русский бесцензурный ста-нок в Лондоне и печатал безустанно, когда все боялись читать: оттого-то, когда пришла бодрость, вы нашли готовый орган. Печатал я под ваши рукоплескания и печатал, осы-паемый бранью потом. Остановиться я не мог и не хотел, так как не мог ни устать, ни перестать любить и понимать. Остановиться, значило умереть, значило второй раз оставить отечество...

| Я видел *будущий путь*. Разум был покоен, страдало сердце, страдало, если хотите, нетерпение и оскорбленное эстетическое чувство истории.

Каждое соприкосновение с Западом, каждый ряд событий в Европе столько же оправдывали и укрепляли меня, как зарницы, реявшие в новой тьме вашей, и тот же внутренний голос шептал мне на ухо: „Будущее не здесь; не ты ли сам проповедывал это?“

В чем же мне каяться?

Разве язык наш изменился, разве мы не то же пропове-дуем теперь, что проповедывали в первых книжках „Поляр-ной Звезды“ и в первых листах „Колокола“?..

И нам за то, что мы одни стали на месте народной со-вести, каяться? — Что вы это!

Не за горами тот час, в который поймут и оценят наш разрыв с общественным мнением того печального времени, когда в угаре и опьянении вы не умели различить Пожар-ского от Муравьева² и к прозаическим доносам „Москов-

¹ Независимо от желания.

² М. Н. Муравьев — см. стр. 20.

ских Ведомостей“ прибавляли стихотворную брань Суворову за то, что виленский изверг ему был гадок¹.

Нет, Иван Сергеевич, не блудными детьми России, не поседевшими Магдалинами с понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправданья, не прощенья, а признанья дела всей их жизни.

Для нас нет задних дверей, в которые стучатся утомившиеся грешники...

Не при жизни, так на нашей могиле настанет день не нашего раскаянья, а раскаянья перед нашими теньями за оскорбленную в нас любовь к России!

«Ответ И. С. Аксакову». 1867 г.

Моей неотступной мыслью, которая управляла моей юностью, молодостью, всей моей жизнью была *русская пропаганда*.

Я основал в Лондоне Вольную типографию и, начиная с осени 1853 г., печатал и печатал без малейшего успеха. Карты переменялись со смертью Николая, великой жертвы Севастополя².

Все, что стремилось к свободе, все, что спешило выйти на свет и покончить с насильственной немотой, повернулось к *лондонской печати*. Ее успех был колоссален.

Если мы имели успех, то потому, что выражали русскую мысль, мысль всех проснувшихся людей у нас; потому, что чувствовалось одинаковое биение сердца. „Вы,—говорил мне один очень известный ультра-панславист³,—если перевернуть выражение Дантона, унесли за границу на своих

¹ Намек на стихотворение Ф. И. Тютчева, направленное против либерального петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова, отказавшегося в 1863 г. подписать приветственный адрес М. Н. Муравьеву-вешателю.

² Герцен был склонен разделять широко распространенное в его время мнение, что Николай I покончил с собой под влиянием неудач русской армии в Крыму.

³ Славянофил Ю. Ф. Самарин, посетивший Герцена в 1864 г.

подошвах родную землю; вот почему, не разделяя ваших идей, мы не можем отделиться от вас“. Но кто же сомневался в чистоте наших целей? Кто считал наши намерения двусмысленными?

Да и каковы же могли быть эти цели, которые заставили нас бросить родину, оставив большую часть своего имущества в когтях правительства, и работать для нее в продолжение пятнадцати лет?

«Нашим врагам». 1868 г.

Какой жалкий прием — выставлять нас врагами России потому, что мы нападаем на современный режим. Рабы, не желающие освобождения, они не имеют никакого представления о человеческой независимости. Сколько раз объясняли мы им, что деятели 93 г. не были врагами Франции и что наши декабристы 1825 г. страстно любили Россию. Это — для них китайская грамота: хороший слуга послушен, нем, равнодушен или он хвалит руку, которая его накажет.

Говоря о моей статье по поводу женеvского конгресса¹, „Вестник“² восклицает: „Вот *неожиданный* защитник России“. Но что же я делал всю свою жизнь в России и вне ее? Как будто, наше существование не было *непрерывной защитой России*, русского народа от его внутренних и внешних врагов, от негодяев, дураков, фанатиков, правителей, доктринеров, лакеев, продажных, сумасшедших, от Катковых и других тормозов в колесе русского прогресса.

«Нашим врагам». 1868 г.

Где, когда, каким образом действовали мы во вред русскому народу?³ О ложных доносах и клеветах мы и говорить не хотим.

¹ Имеется в виду женеvский конгресс Лиги мира и свободы в 1867 г.

² Настоящая статья была напечатана Герценом в ответ на нападки на него журнала Каткова «Русский вестник».

³ Настоящий отрывок заимствован из статьи, написанной Герценом в ответ петербургской газете «Биржевые ведомости», бросившей Герцену обвинение в том, что он действовал во вред России.

При основании ли первой русской свободной печати в Лондоне?

Или во время Крымской войны, когда все ваши органы *in patribus*¹, уstraшенные враждебностью общественного мнения, замолчали и стушевались, и только мы одни говорили в защиту русского народа не только в газетах, но на митингах в Лондоне?

Или, может быть, после смерти Николая, когда „Полярная Звезда“, а потом „Колокол“ требовали в каждом нумере освобождения крестьян, уничтожения цензуры и телесных наказаний и учреждения гласного, публичного суда?

Теперь все это наполовину сделано.

Или когда мы добились немного свободы печати для вас? Вы прекрасно знаете это: если вам позволили сказать *одну четверть*, то для того, чтобы отвлечь внимание от *трех четвертей*, которые говорили мы.

Пощадите, не говорите нам о нашей роли во время польского восстания.

„Пощадите самих себя“, — как поют в „Роберте“².

Эта роль — наше право на признательность России. Именно потому, что мы остались верны своим убеждениям, своей вере, свободе, справедливости, истине, именно потому раздавался *русский голос*, протестовавший при каждом павшем мученике, при каждой совершенной жестокости, при каждом зверстве Муравьева³, при каждой кровавой статье „Московских Ведомостей“⁴.

Нам обязаны вы тем, что Европа знает о существовании в России людей, которые не рукоплескали палачам, которые с ужасом смотрели на банкеты, устраиваемые в честь генералов, хваставших тем, что больше всех вешали поляков, что она знает о существовании в России людей, кото-

¹ В данном случае: за границей.

² «Роберт-Дьявол» — опера Мейербера.

³ М. Н. Муравьев — см. стр. 20.

⁴ Газета «Московские ведомости», издававшаяся М. Н. Катковым, выступала с проповедью крайнего шовинизма.

рые искренно и открыто хотят независимости для народа, не имеющего с нами ничего общего.

Петербургские «Биржевые ведомости». 1868 г.

В нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и немецком учебнике, но в толоке действительной жизни, есть ошибки, промахи, увлечения, *но нет поступка*, который бы заставил нас покраснеть перед кем бы то ни было, который мы бы хотели скрыть от кого бы то ни было.

Если вы то же можете сказать, поздравляю вас, г. Катков, поздравляю вас, г. Леонтьев¹... хотя я и не сомневаюсь, что вы можете.

Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, смотрим в ваши ученые глаза... Кто кого пересмотрит?

Может, вы слышали, как в 1849 году, в народном собрании в Париже, Прудон, задетый таким же образом Тьером, сказал ему спокойно, стоя на трибуне, превратившейся на ту минуту в страшный суд: „Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу это принять за личность, и тогда я не картель вам пошлю, а предложу вам другой бой: здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом; каждый может мне напомнить, если я что-нибудь пропущу или забуду. *И потом пусть расскажет мой противник свою жизнь*“.

«Письмо к Каткову и Леонтьеву». 1862 г.

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Литература у народа, не имеющего политической свободы,—единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести.

¹ Катков и Леонтьев — редакторы журнала «Русский вестник», травившего, по поручению правительства, Герцена.

Влияние литературы на общество, сложившееся таким образом, разрастается до размеров, которые литература других стран Европы давно утерьяла. Революционные стихотворения Рылеева и Пушкина можно было найти в руках молодых людей в самых отдаленных областях империи. Не было ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей сумке, ни одного поповского сына, который не снял бы с них дюжину копий. В последние годы пыл этот очень остыл, потому что стихи эти уже произвели свое впечатление; целое поколение пережило влияние горячей юншеской пропаганды.

«О развитии революционных идей в России». 1857 г.

Вы знаете, что в России вообще и роман, и комедия, и даже басня имели с самого начала европейского влияния, т. е. с середины XVIII столетия, вполне выраженный и лишь цензурою сдерживаемый характер горькой иронии и насмешливой критики. Там не было ничего любезно-почтительного, ничего добродушного. Если не считать времени юности Карамзина, когда переводились и встречали подражание романы à la Лафонтен¹, то у нас не было периода сентиментализма. Все, носившее характер чего-то навязанного, антинационального, не пережило своего времени, тогда как комедии Фонвизина, написанные гораздо раньше, остались в памяти, как истины, как показатели самой сущности своей эпохи...

Одним из свойств русского духа, отличающим его даже от других славян, является способность время от времени оглянуться на самого себя, отнестись с отрицанием к собственному прошлому, способность посмотреть на него с глубокою, искреннею, неумолимою иронией и иметь сме-

¹ Август Лафонтен — немецкий писатель конца XVIII и начала XIX века, автор многочисленных приторно-чувствительных и фальшиво-слезливых романов.

лость признаться в этом, не обнаруживая ни эгоизма закоренелого злодея, ни лицемерия, которое винит себя только для того, чтобы быть оправданным другими. Чтобы сделать свою мысль более ясной, замечу, что тот же самый талант искренности и отрицания мы находим у некоторых великих писателей, от Шекспира и Байрона до Диккенса и Теккерея...

До вступления на престол Николая I в литературной оппозиции было еще что-то недоговоренное, примирительное, смех был еще не совсем горьким. Мы находим это в удивительных баснях Крылова (оппозиционное значение которых не было никогда правильно оценено) и в знаменитой комедии Грибоедова „Горе от ума“. Но когда после революционной попытки 1825 года мрачная, тяжелая система Николая придавила всякое умственное движение, к смеху присоединилось молчаливое, сосредоточенное отчаяние, и, между цензурными вырезками, стала чувствоваться совсем иная скорбь. Сравните, например, грустные ноты пушкинской поэзии с печалью, проникающею стихи Лермонтова; в первой чувствуется негодование от полноты сил; во вторых — безнадежный скептицизм надломленной души...

Это был крик боли и протеста, вырвавшийся у молодого, полного страстных желаний человека, который чувствует силу в мускулах, жаждет деятельности и видит, что он попал в бездну, откуда нет выхода, где нет возможности двигаться. Вот отчего во всех стихотворениях, рассказах и романах повторяется один и тот же тип, — тип молодого человека, полного благородных порывов, но надломленного, бегущего неведомо куда, чтобы исчезнуть, уйти из жизни, как существо лишнее, бесполезное, не попавшее в комплект.

Онегин и Владимир Ленский Пушкина, Печорин Лермонтова и герои ранних рассказов Тургенева, это — все одно и то же лицо. Видеть здесь лишь подражание Байрону, лишь идеалистическую мечтательность значит обнаруживать недостаток понимания и чутья. Это — скорее отблеск ни-

колаевского царствования, продукт его влияния. Молодая душа гонимого, униженного, истязуемого поколения бежала с презрением от действительности и стала искать свой идеал вдали. Это было сознание, что в сердцах наших живет стремление к иному существованию, чем существование немого писаря, безгласного солдата, ворующего чиновника и грабящего помещика.

«О романе из народной жизни в России».
1857 г.

Вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всякое человеческое право. Подобно Протею¹, эта оппозиция принимала всевозможные формы и говорила на всевозможных языках. Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась. Раздавленная в газете, она возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала свое дело в курсе естественных наук. Она проявлялась даже в молчании и умела проникнуть, несмотря на стены и запоры, в дортуары молодых институток, в залы военных упражнений в кадетских корпусах и в залы богословских диспутов в семинариях.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

М. В. ЛОМОНОСОВ

Этот знаменитый ученый был типом русского как по своей энциклопедичности, так и по остроте своего понимания. Он писал по-русски, по-немецки и по-латыни. Он был рудокоп-минералог, химик, поэт, филолог, физик, астроном и историк. Он в одно и то же время составлял метеорологическую диссертацию об электричестве и другую — в ответ историографу Миллеру — о пришествии варягов в Россию, и это не мешало ему кончать свои торжественные

¹ Протей — древнегреческое божество, обладающее способностью изменять свою внешность.

оды и дидактические поэмы. Всегда с ясным умом, полный беспокойного желания все понять, он бросался с одного предмета на другой с удивительной легкостью понимания.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Д. И. ФОНВИЗИН

Фонвизин, человек весьма образованный, философ в смысле энциклопедистов, сам принадлежал к высшему обществу и пробыл довольно продолжительное время при русском посольстве в Париже; он не мог сдержать своего сатирического вдохновения при виде полуварварского общества с утонченно-цивилизованными манерами. Он попытался воспроизвести эту удивительную смесь на сцене, и это удалось ему в совершенстве. Публика помирала со смеху, видя осмеянной себя без всякой пощады. Успех „Бригадира“ был чрезвычайный, полный. Князь Потемкин, при всех его недостатках, далеко не был лишен известной широты понимания; встретивши автора после первого представления „Бригадира“, на котором он присутствовал, при выходе из театра, он взял его за руку и сказал, глубоко взволнованный: „Фонвизин, умри теперь“.

Но Фонвизин сделал лучше: он написал другую комедию. Успех „Недоросля“ значительно превзошел успех „Бригадира“. Это произведение сохранится навсегда в русской истории и литературе, как картина нравов русского дворянства, возрожденного Петром I.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

Фонвизин, ум язвительный, видел обратную сторону; он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его манерами будто бы цивилизованными. Это был первый автор, в писаниях которого прорезывался демонический принцип сарказма и негодования,— принцип, который дол-

жен был с тех пор пройти через всю русскую литературу и стать в ней господствующим. В этой иронии, в этом бичевании, где ничто не пощажено, даже личность автора, слышится для нас наслаждение мезтью, утешение зло-радством; этим смехом мы порываем с общностью между нами и этими пресмыкающимися, которые не умеют ни сохранить варварство, ни усвоить цивилизации и которые одни только выплывают на официальную поверхность русского общества. Неутомимый протест шаг за шагом обличает эту аномалию. Протест был горячий, безостановочный.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

А. С. ГРИБОЕДОВ

Комедия Грибоедова появилась под конец царствования Александра I; своим смехом она связывала самую блестящую эпоху тогдашней России, эпоху надежд и возвышенной юности, с темными и безмолвными временами Николая.

Чтобы верно оценить значение и влияние произведения Грибоедова в России, надо вспомнить то время во Франции, когда первое представление „Женитьбы Фигаро“ имело там значение государственного переворота.

Комедию Грибоедова читали, заучивали наизусть, переписывали во всех уголках государства, прежде, чем она появилась на сцене, прежде цензорского дозволения печатать. Николай разрешил постановку этой пьесы, чтобы лишить ее привлекательности запрещенного плода, и дал свое согласие на отпечатание ее в урезанном виде, чтобы противодействовать распространению рукописных экземпляров.

И опять-таки содержание пьесы составляет наводящую ужас пустоту высшего русского общества, в особенности московского. Но это было уже не то доброе старое время, когда писал Фонвизин,— за столетие совершилось много перемен. Краски уже не так резки, и не так уж весел смех.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

Поэт-гражданин, он был тем и другим в каждой своей поэме, в каждой строфе, в каждом стихе. Все проникнуто чувством самопожертвования, безграничной любви и пламенной ненависти.

Молодой человек без всякой поддержки, он напал на чудовище, перед которым трепетала вся страна, — на Аракчеева...

Все обратили на него внимание. То было время, когда общество уже начинало тяготиться не знавшим никаких границ произволом.

Сделавшись членом тайного общества, кипучий молодой человек совершенно изменился. Из дерзкого поэта, всенародно посылающего проклятия страшному временщику, он превращается в поэта-пророка, проповедывающего великую борьбу...

Страстно любимый своими друзьями, Рылеев стал сердцем, центром, горячим и притягательным, Северного общества. Не будучи красноречивым в буквальном смысле этого слова, он всех увлекал могуществом своего влияния, которому невозможно было противостоять. Еще не начав говорить, он уже завладевал своим собеседником выражением глаз и всего лица.

«Кондратий Рылеев и Николай Бестужев».
1868 г.

Рылеев был, может быть, самый замечательный из членов Северного общества. Это — Шиллер заговора, элемент восторженный, юношеский, поэтический, элемент жирондистский в лучшем смысле этого слова. Его поэма „Войнаровский“ (из времен Мазепы), его народные легенды — произведения большой красоты. Его поэзия полна меланхолической покорности провидению. Немного надежд, но много самопожертвования. Он идет на каторгу или на смерть; он это знает, но спрашивает: „Где же вы видели, чтобы свободу завоевывали без жертв?“ „Я знаю, — говорит казак

Наливайко исповедывающему его попу, — я знаю, что меня ожидает, но я благословляю свою судьбу с радостью!¹ Вот Рылеев — весь. Хотя избранным диктатором был князь Трубецкой, но к концу 1825 года истинным главой общества был Рылеев.

«Русский заговор 1825 года». 1858 г.

I

А. С. ПУШКИН

Великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки; печатанные экземпляры „не удовлетворяли“, списки ходили по рукам... Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу „Онегина“! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора я услышал, что Пушкин в Москве. О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, наконец, и все показывали, с восхищением говоря: „вот он, вот он...“

«Записки одного молодого человека». 1840 г.

Читали других поэтов, восторгались ими, но Пушкин — в руках каждого цивилизованного русского, и он перечитывал его всю жизнь. Поэзия Пушкина уже не опыт, не этюд, не упражнение, это было его призванием и стало зрелым искусством; цивилизованная часть русской нации нашла в нем в первый раз дар поэтического слова.

Пушкин, как нельзя более, национален и в то же время понятен для иностранцев. Он редко поддельвается под народный язык русских песен, он выражает свою мысль так, как она появляется у него в уме. Как все великие поэты, он всегда на уровне своего читателя: он растет, становится мрачен, грозен, трагичен; его стих шумит, как море, как лес, волнуемый бурей, но в то же время он ясен, светел, свер-

¹ Герцен цитирует «Исповедь Наливайки» с сокращениями и не вполне точно.

кающ, жаждет наслаждений, душевных волнений. Везде русский поэт реален, — в нем нет ничего болезненного, ничего из той преувеличенной психологической патологии, из того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто встречаются у немецких поэтов. Его муза — не бледное существо, с расстроенными нервами, закутанное в саван, это — женщина горячая, окруженная ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать искусственных, достаточно несчастная, чтобы выдумывать несчастья искусственные. У Пушкина натура была пантеистическая, эпикурейская греческих поэтов, но в его душе явился еще элемент совершенно новый. Углубляясь в себя, он находил в недрах души горькую думу Байрона, разъедающую иронию нашего века...

В конце своей карьеры Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от друга, и это по очень простой причине: Байрон был англичанин до глубины души, а Пушкин — до глубины души русский, и русский петербургского периода. Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости и все более и более закутывающийся в свое высокомерие, в свою гордую скептическую философию, становится все более и более мрачным и непримиримым. Он не видел никакого близкого будущего; удрученный горькими думами, когда мир ему опротивел, он предал свою судьбу народу славяно-эллинских морских разбойников, которых он принимал за греков древнего мира. Пушкин, напротив, все более и более успокаивается, погружается в изучение русской истории, собирает материалы для монографии о Пугачеве, создает историческую драму „Борис Годунов“ и проникается инстинктивной верою в будущность России; в его душе отдавались торжествующие и победные крики, поразившие его еще в детстве, в 1813 и 1814 годах...

Те, которые говорят, что поэма Пушкина „Онегин“ есть „Дон-Жуан“ русских нравов, не понимают ни Байрона, ни

Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности. „Онегин“, это — самое значительное произведение Пушкина, поглотившее половину его жизни. Эта поэма исходит именно из того периода, который нас занимает; она созрела в те грустные годы, которые следовали за 14-м декабря, и можно ли поверить, что подобное произведение, поэтическая автобиография — лишь простое подражание...

Онегин, это — русский, он возможен только в России; в ней он нужен и его встречают на каждом шагу. Онегин, это — бездельник, потому что он никогда ничем не занимался, человек, лишний в той сфере, в которой находится, и не имеющий достаточно характера, чтобы из нее выйти. Это человек, испытывающий жизнь до самой смерти и который желал бы попробовать смерть, чтобы посмотреть, не лучше ли она жизни. Он все начинал и ничего не доводил до конца, он думал тем больше, чем меньше делал; он в двадцать лет уже стар, а, начиная стареть, молодеет через любовь. Он всегда чего-то ожидал, как мы все, потому что у человека нет достаточно безумия, чтобы верить в продолжительность теперешнего положения в России... Ничто не пришло, а жизнь уходила... Тип Онегина до такой степени национален, что встречается во всех романах и во всех поэмах, которые имели хоть некоторую популярность в России, и не потому, что этот тип хотели списывать, а оттого что его постоянно видишь около себя или в себе самом...

Рядом с Онегиным, Пушкин поставил Владимира Ленского, — другую жертву русской жизни, — Онегина *vice versa*¹. Это — острое страдание рядом со страданием хроническим. Это — одна из тех девственных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде, которые приняли жизнь, но не могут ничего более принять от нечистой почвы, кроме смерти. Являясь искупительными жертвами, эти юноши проходят молодыми, бледными, отмеченными роком на челе, как упрек, как раскаяние,

¹ Наоборот.

и после них ночь, в которой „мы движемся и существуем“, остается еще более мрачною.

Пушкин изобразил характер Ленского с нежностью, какую человек питает к мечтам своей юности, к воспоминаниям о том времени, когда человек полон надежды, чистоты и невзведения. Ленский — последний крик совести Онегина, потому что это он сам, это — идеал его юности. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукою Онегина, который его любил и, целясь в него, не хотел даже ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца: он спешит утешить читателя, изображая ту пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Он всецело принадлежит к нашему поколению. Мы все, наше поколение, были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы видели только казни и ссылки. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточиваться, скрывать свои думы, — и какие думы! То не были уже идеи цивилизующего либерализма, идеи прогресса, то были сомнения, отрицания, злобные мысли. Привыкший к этим чувствам, Лермонтов не мог спастись в лиризме, как Пушкин. Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях. Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела, — она пробивается во всех его стихотворениях. То была не отвлеченная мысль, стремившаяся украсить цветами поэзии: нет, рефлексия Лермонтова, это — его поэзия, его мучение, его сила. У него было более сочувствия к Байрону, чем у Пушкина. К несчастью слишком большой проницательности в нем прибавлялось другое — смелость многое высказывать без подкрашенного лицемерия и пощады. Люди слабые, задетые никогда не

прощают такой искренности. О Лермонтове говорили, как об избалованном аристократическом ребенке, как о каком-нибудь бездельнике, погибающем от скуки и пресыщения. Никто не хотел видеть, сколько боролся этот человек, сколько он выстрадал, прежде чем решился высказать свои мысли. Люди переносят ругательства и ненависть с гораздо большей снисходительностью, чем известную зрелость мысли, чем отдаление от них, не желающее разделять с ними ни их надежд, ни их опасений и осмеливающееся заявлять об этом разрыве. Когда Лермонтов уезжал из Петербурга на Кавказ во вторую ссылку, он чувствовал себя усталым и говорил друзьям, что постарается скорее умереть. Он сдержал свое слово.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

А. В. КОЛЬЦОВ

Как сомневаться в существовании сил в зачаточном состоянии, когда из самой глубины нации поднимается такой голос, как голос Кольцова?.. Новые песни вышли из самых недр деревенской России. Прасол, гонявший своих волов через степь, сочинял их по вдохновению. Кольцов был всецело сыном народа. Родившись в Воронеже, он до десяти лет ходил в приходскую школу, но выучился только читать и безграмотно писать. Отец его, скотопромышленник, заставил его заняться тем же делом. Он проводил стада сотни верст и привык таким образом к кочевой жизни, которая отразилась в лучшей части его песен. Молодой прасол любил чтение и постоянно перечитывал какого-нибудь русского поэта, которого принимал за образец, и его опыты подражания извращали его поэтический инстинкт. Наконец, пробился истинный его талант; он написал народные песни, не много числом, но каждая из них — образцовое произведение. Это, действительно, — песня русского народа. В них меланхолия, составляющая их отличительное свойство, надрывающая душу грусть, удаль молодецкая.

Кольцов показал, сколько поэзии скрыто в душе русского народа и что после долгого и тяжкого сна в груди его что-то шевелится.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

В песнях Кольцова открывался... мир грустный, несчастный, но отнюдь не смешной, а скорее неопишимо трогательный в своей наивной, естественной простоте, в своей смиренной нищете, Россия забытая, Россия бедная, мужицкая — вот кто подавал здесь о себе голос.

«О романе из народной жизни в России».
1857 г.

Н. В. ГОГОЛЬ

Не будучи по происхождению, подобно Кольцову, из народа, Гоголь принадлежал к народу по своим зкусам и по складу своего ума. Гоголь совершенно не зависим от иностранного влияния: он не знал никакой литературы, когда имел уже имя. Он больше сочувствовал народной жизни, чем придворной, что естественно со стороны малоросса...

Рассказы, которыми дебютировал Гоголь, составляют ряд картин малороссийских нравов и видов истинной красоты, полных веселости, грации, движения и любви...

По мере того, как Гоголь выходил из Малороссии и близился к средней России, исчезали наивные и прелестные образы. Нет более полудикого героя, вроде „Тараса Бульбы“; нет более добродушного, патриархального старика, какого Гоголь так хорошо изобразил в „Старосветских помещиках“. С московским небом все становится в нем мрачно, пасмурно, враждебно. Он все смеется, — он смеется даже больше, чем прежде, — но другим смехом, и только люди очень черствые или очень простодушные ошиблись в оценке этого смеха. Переходя от своих малороссов и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и сосредоточивается на двух своих самых заклятых врагах: на чинов-

нике и помещике. Никто никогда до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о русском чиновнике. С хохотом на устах он без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновнической души. Комедия Гоголя „Ревизор“, его поэма „Мертвые души“ представляют собою ужасную исповедь современной России...

После „Ревизора“ Гоголь обратился к поместному дворянству и выставил напоказ этот неизвестный народ, державшийся за кулисами вдали от дорог и больших городов, хоронившийся в глуши своих деревень, — эту Россию дворянчиков, которые, хотя и живут без шума и кажутся совсем ушедшими в заботы о своих землях, но скрывают более глубокое развращение, чем западное. Благодаря Гоголю, мы, наконец, увидели их выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжиралюющимися: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери.

„Мертвые души“ потрясли всю Россию.

Подобное обвинение необходимо было современной России. Это — история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя, это — крик ужаса и стыда, который испускает человек, унизившийся от пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крик мог раздаться из чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровые части, и большое стремление к реабилитации. Кто откровенно сознается в своих слабостях и пороках, тот чувствует, что они не составляют сущности его самого, что они еще не окончательно его поглотили, что есть еще в нем кое-что, спасающее от падения и противящееся ему, что он способен еще искупить прошедшее и не только поднять голову, но стать, как в трагедии Байрона, из Сарданапала обабившегося Сарданапалом-героем.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Иностранцу трудно понять огромное впечатление, произведенное у нас на сцене „Ревизором“, который потерпел в Париже полное фиаско. У нас же публика своим смехом и рукоплесканиями протестовала против нелепой и тягостной администрации, против воровской полиции, против общего „дурного правления“. Большая поэма в прозе „Мертвые души“ произвела в России такое же впечатление, какое во Франции вызвала „Свадьба Фигаро“. Можно было с ума сойти при виде этого зверинца из дворян и чиновников, которые слоняются в глубочайшем мраке, покупают и продают „мертвые души“ крестьян.

Но и у Гоголя можно иногда уловить звук другой струны; в его душе точно два потока. Пока он находится в комнатах начальников департамента, губернаторов, помещиков, пока его герои имеют, по крайней мере, орден св. Анны или чин коллежского ассесора, до тех пор он меланхоличен, немолчим, полон сарказма, который иной раз заставляет смеяться до судорог, а иной — вызывает презрение, граничащее с ненавистью.

Но когда он, наоборот, имеет дело с ямщиками из Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков или шумно танцующих у трактира парубков, когда рисует перед нами бедного старого писаря, умирающего от огорчения, потому что у него украли шинель, тогда Гоголь — совсем иной человек. С тем же талантом, как прежде, он нежен, человечен, полон любви; его ирония больше не ранит и не отравляет; это — трогательная, поэтическая, льющаяся через край душа, и таким остается он до тех пор, пока случайно не встретит на своем пути городничего, судью, их жены или дочери, — тогда все меняется; он срывает с них человеческую личину и с диким и горьким смехом обрекает их на пытку общественного позора.

«О романе из народной жизни в России».
1857 г.

В самый год смерти Лермонтова появились „Мертвые души“ Гоголя.

Наряду с философскими размышлениями Чаадаева и поэтическим раздумьем Лермонтова произведение Гоголя представляет практический курс России. Это — ряд патологических очерков, взятых с натуры и написанных с огромным и совершенно оригинальным талантом.

Гоголь тут не нападает ни на правительство, ни на высшее общество; он расширяет рамки, ценз и выходит за пределы столиц; предметами его вивисекции служат: человек лесов и полей, волк, дворянин, чернильная душа, лиса, мелкий провинциальный чиновник и их странные самки. Поэзия Гоголя, его скорбный смех, это — не только обвинительный акт против подобного нелепого существования, но и мучительный вопль человека, старающегося спастись прежде, чем его заживо похоронят в этом мире безумных. Подобный вопль мог вырваться из груди лишь при условии, если у человека уцелели еще здоровые части и сохранилась громадная сила возрождения. Гоголь чувствовал — и многие другие чувствовали с ним — *позади мертвых душ души живые*.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Мученик своих сомнений и мыслей, энтузиаст, поэт в диалектике, оскорбленный всем, что его окружало, он таял в муках. Этот человек трепетал от негодования и содрогался от бешенства при бесконечном зрелище русского самодержавия.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Сын мелкого пензенского чиновника, он прошел трудную школу, страдая от нищеты, пробиваясь через всяческие препятствия, добывая себе одновременно и хлеб, и знания; и, несмотря на все это, он, уже в 25 лет, взял на себя роль учителя и был признан, действительно, учителем всей учащейся молодежью в России...

Белинскому, а также Гоголю, — этому единственному гениальному человеку последнего периода царствования Николая, — ставили в упрек именно то, чем реакция упрекает в настоящее время нигилистов. И тот, и другой своим пылом, своими подчас вульгарными образами, эксцентричностью, неумеренностью выражений шокировали многих. Белинский своей страстностью бесконечно переходил границы всего того, что допускалось в салонах. Непреодолимый пыл увлекал его, а вместе с ним и всю молодежь. С пером в руке, в своих импровизациях, которые трепетали от негодования, которые обвиняли, метали анафемами „в свинцовый свод, давивший его“, он не имел времени принарядиться в белый галстук, да он и не хотел наряжаться. „Для этого человека нет ничего святого, ничего, заслуживающего уважения“, — кричали литературные авторитеты. Это — нигилист, — сказали бы они теперь на реакционном жаргоне нашего времени.

Но серьезная сторона, сторона трагическая, происхождение той черты, которую они преследовали в Белинском, эта горечь, бродившая в его крови, — вот что ускользало от понимания его строгих судей.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

Скоро будет Белинский¹; жду, очень жду его. Я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы много понимаем друг друга. И я люблю его резкую односторонность, всегда полную энергии и бесстрашную.

Дневник. Запись 15 мая 1843 г.

Белинский не переменился ни на волос, — вечно в экстреме², но глубоко вникающий и симпатичный с одной стороны, резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и

¹ Белинский в это время жил в Петербурге, а Герцен находился в Москве.

² Крайность.

не трус, конечно, в консеквентности¹. Я люблю его речь и недовольный вид, и даже ругательство.

Дневник. Запись 30 июня 1843 г.

Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 г. в Полевом², после мрачной статьи Чаадаева, является выстрадавшее, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих: „Родные люди вот какие“ в „Онегине“, чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о „Тарантасе“³, о „Параше“ Тургенева, о Державине, о Мочалове⁴ и „Гамлете“? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой, так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов

¹ Последовательность, верность убеждениям.

² Н. А. Полевой — критик и журналист, издававший с 1825 г. в Москве журнал «Московский телеграф». Несмотря на то, что Полевой по своим общественно-политическим взглядам был весьма умеренным либералом, в условиях реакции, восторжествовавшей после разгрома декабристов, «Московский телеграф» сыграл безусловно прогрессивную роль. В 1834 г. этот журнал был закрыт правительством за отрицательный отзыв о драме писателя Кукольника, написанной в казенно-патриотическом духе.

³ Повесть В. А. Соллогуба.

⁴ П. С. Мочалов — знаменитый артист-трагик, игравший в Московском Малом театре в 30-х и 40-х гг. XIX века.

эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие *задушевные* мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

«Былое и думы». Гл. XXV.

Общественная деятельность Белинского начинается лишь с 1841 года. Он захватил тогда главенство в редакции „Отечественных записок“ и господствовал в русской прессе в течение шести лет. Он пал, как воин, вместе с русской журналистикой. Он умер в 1848 году, изведенный усталостью, полный разочарования и в самой крайней бедности.

Белинский много сделал для пропаганды. Вся учащаяся молодежь питалась его статьями: он образовал эстетический вкус публики, придал русской мысли силу. Его критика проникала гораздо глубже, чем писания Полевого, возбуждая иные вопросы и сомнения. Современники мало его оценили; при жизни он задел слишком много самолюбий, оскорбил слишком много честолюбивых; после его смерти правительство запретило писать о нем; это именно и заставило меня распространиться о Белинском более, чем о ком-нибудь другом.

Его слог был часто угловат, но всегда полон энергии. Он передавал свою мысль так, как она у него зачиналась, со страстью. В каждом слове чувствуешь, что он писал своей кровью, своими нервами, чувствуешь, сколько он их растрачивал и как он себя сжигал; болезненный, раздражительный, он не знал границ ни любви, ни ненависти. Часто он увлекался, иногда был даже очень несправедлив, но всегда оставался глубоко, свято искренним. Столкновение Белинского со славянофилами было неизбежно.

Как мы уже сказали, он был один из самых свободных людей, не связанный ни верованиями, ни традицией. Он не зависел от общественного мнения и не признавал никаких авторитетов; он не боялся ни гнева друзей, ни ужаса пре-

краснодушия. Он всегда стоял на страже критики, готовый обличить, заклеить все то, что считал реакционным. Как же мог он оставить в покое ортодоксальных и ультрапатриотических славянофилов,— он, который видел тяжелые цепи во всем том, что славянофилы считали за узы самые священные?..

Белинский и его друзья не противопоставили славянам ни законченного учения, ни исключительной системы, а только живую симпатию ко всему, что волнует современного человека — беспредельную любовь к свободе мысли и такую же сильную ненависть ко всему, что ей препятствовало: к власти, насилию и вере. Они рассматривали русский вопрос и вопрос европейский с совершенно противоположной точки зрения, чем славянофилы.

Им казалось, что одной из самых важных причин рабства, в котором коснела Россия, являлся недостаток личной независимости; отсюда — полное отсутствие уважения личности со стороны правительства и оппозиции, со стороны отдельных лиц; отсюда — и цинизм власти, и долготерпение народа.

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

Этот борец, ставший во главе „Отечественных записок“, не предвещал больших успехов славянофилам. То был талантливый энергичный человек, также с фанатическими убеждениями, — человек смелый, нетерпимый, раздражительный, нервный: Белинский..

Белинский был совершенно свободен от влияний, которым мы поддаемся, когда не умеем защититься от них. Соблазненные новизной, мы в юности принимаем множество вещей памятью, не проверяя их разумом. Эти воспоминания, которые мы считаем за приобретенные истины, связывают нашу независимость. Белинский начал свои занятия с философии, и то лишь когда ему исполнилось двадцать пять лет.

Он приступил к науке с серьезными вопросами и со страстной диалектикой. Для него истины, выводы не были ни отвлеченностью, ни игрой ума, но вопросами жизни и смерти; свободный от всякого постороннего влияния, он вступил в науку с большей искренностью; он не старался что-либо спасти от огня анализа и отрицания и совершенно естественно восстал против половинчатых решений, робких заключений и малодушных уступок...

«О развитии революционных идей в России».
1851 г.

И. С. ТУРГЕНЕВ

По мере того, как Тургенев ближе присматривался к помещицкому дому и чердаку бурмистра, он все сильнее увлекался своим предметом. Шутка все исчезала, и поэт нарисовал нам два разных серьезных поэтических типа русских крестьян. Неподготовленная к этому публика разразилась рукоплесканиями. Художник выступил со вторым своим рассказом „охотника“. Этот рассказ был превосходен — так пошло дальше. Тургенев имел свою особую антипатию, он не стал глотать костей, оставленных ему Гоголем, а занялся преследованием другой добычи: помещика, его жены, его кабинета, управляющего и старосты. Никогда еще раньше внутренняя жизнь помещицкого дома не выставлялась в таком виде на всеобщее посмеяние, ненависть и отвращение. При этом нужно заметить, что Тургенев никогда не накладывает густых красок, никогда не применяет слишком сильных выражений. Наоборот, он повествует с большою пластичностью, употребляет всегда лишь изысканный слог, который необычайно усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта крепостничеству.

Тургенев не остановился на одной лишь мученической доле крестьянина; он не побоялся заглянуть и в душную каморку крепостного слуги, где тот имел лишь одно утешение — водку. Жизнь этого русского „Дяди Тома“ он передал

С такой художественностью, что сумел даже миновать двойную цензуру и все же заставить нас дрожать от бешенства при изображении этого тяжкого, нечеловеческого страдания, под бременем которого падало одно поколение за другим, без просвета впереди, не только с оскорбленной душой, но и с искалеченным телом.

«О романе из народной жизни в России».
1857 г.

Н. А. НЕКРАСОВ

В его стихотворениях есть такие превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердие.

Письмо к И. С. Тургеневу. 2 марта 1857 г.

...Это поэт очень замечательный своею демократическою и социалистическою ненавистью.

Письмо к М. Мейзенбуг. 3 июня 1857 г.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Наряду с этой книгой ужасов¹ мы должны поставить драму Островского „Гроза“.

В этой драме автор проник в глубочайшие тайники *неозападничавшейся* русской жизни и бросил внезапный луч света в неведомую душу русской женщины, этой безгласной, которая задыхается в тисках неумолимой и полудикой жизни патриархальной семьи. Островский уже раньше избирал предметом своих произведений социальный слой, лежащий ниже образованного общества, и выводил на сцену поражающие правдой фигуры. Глядя на героев, которых он выловил в стоячих и разлагающихся водах буржуазии, на всех этих пьяниц — отцов семейства, на этих воров, осенявших себя крестным знаменем, на этих глупцов и плутов, тиранов и холопов, думаешь, что ушел далеко от жизни челове-

¹ «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

ской и находишься среди медведей и кабанов. И, однако, как ни низко пал этот мир, что-то говорит нам, что для него есть еще спасенье, что он таит его в глубине своей души, и это что-то, это *ignotum*¹ чувствуется в „Грозе“. Тут чувствуется возможное оправдание; никакой голос с неба не возвещает, как в „Фаусте“ Гете, отпущения грехов, но все: и печать и публика содрогнулись.

«Новая фаза русской литературы». 1864 г.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Первые представители социальных идей в Петербурге были *петрашевцы*. Их даже судили, как „фурьеристов“. За ними является сильная личность *Чернышевского*. Он не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающих угрызений совести, середь молодого желанья иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, что им делать. Его среда была городская, университетская, — среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции, из „способностей“. Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унижительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их.

Пропаганда Чернышевского была ответом на *настоящие* страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон

¹ Неизвестное.

литературе и провела черту между в самом деле юной Россией и прикидывавшеюся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали „дворян в мещанстве“ и помещиков в оппозиции.

«Порядок торжествует». 1866 г.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Опять нам приходится занести в нашу хронику раннюю смерть — энергический писатель, неумолимый диалект и один из замечательнейших публицистов русских, Добролюбов похоронен на-днях на Волковом кладбище, возле своего великого предшественника Белинского. Говорят, что Добролюбову было только 25 лет.

«Кончина Добролюбова». 1861 г.

Д. И. ПИСАРЕВ

Еще одно несчастье постигло нашу маленькую фалангу. Скрылась яркая звезда, которая много обещала, унеся едва сложившиеся таланты, прекратив едва выдвинувшуюся литературную деятельность. Писарев — язвительный критик, иногда преувеличивавший, но всегда полный вдохновения, благородства и энергии, утонул во время купания. Несмотря на свою молодость, он много страдал. Недавно он вышел из крепости, в которой был заключен в течение нескольких лет. Неужели нижеследующие две строки, цитированные Пушкиным, будут всегда истинны по отношению к нам?

La sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente al cui l'morir non duole¹.

Огромная толпа народа всех классов и сословий, как говорят петербургские газеты, провожала гроб от дома по-

¹ Там, среди коротких и туманных дней
Родится народ, которому не больно умирать.

Из Пет. арки. эпиграф к 6-й главе «Евгения Онегина».

койного до кладбища. Могила утопала в цветах. Был сделан сбор для основания университетской стипендии, которая будет носить имя молодого публициста... Все это прекрасно, но неужели нужно, чтобы смерть постоянно вырывала из среды живых человека, стремящегося к прогрессу, чтобы примирить его с толпой ленивых и бездеятельных?

«Писарев». 1868 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Б. П. Козьмин.—Герцел и Россия	3
О любви к родине	15
О русском народе	27
О служении народу	56
О русской литературе	78
М. В. Ломоносов	61
Д. И. Фонвизин	82
А. С. Грибоедов	83
К. Ф. Рылеев	84
А. С. Пушкин	85
М. Ю. Лермонтов	88
А. В. Кольцов	89
Н. В. Гоголь	90
В. Г. Белинский	93
И. С. Тургенев	98
Н. А. Некрасов	99
А. Н. Островский	99
Н. Г. Чернышевский	100
Н. А. Добролюбов	101
Д. И. Писарев	101